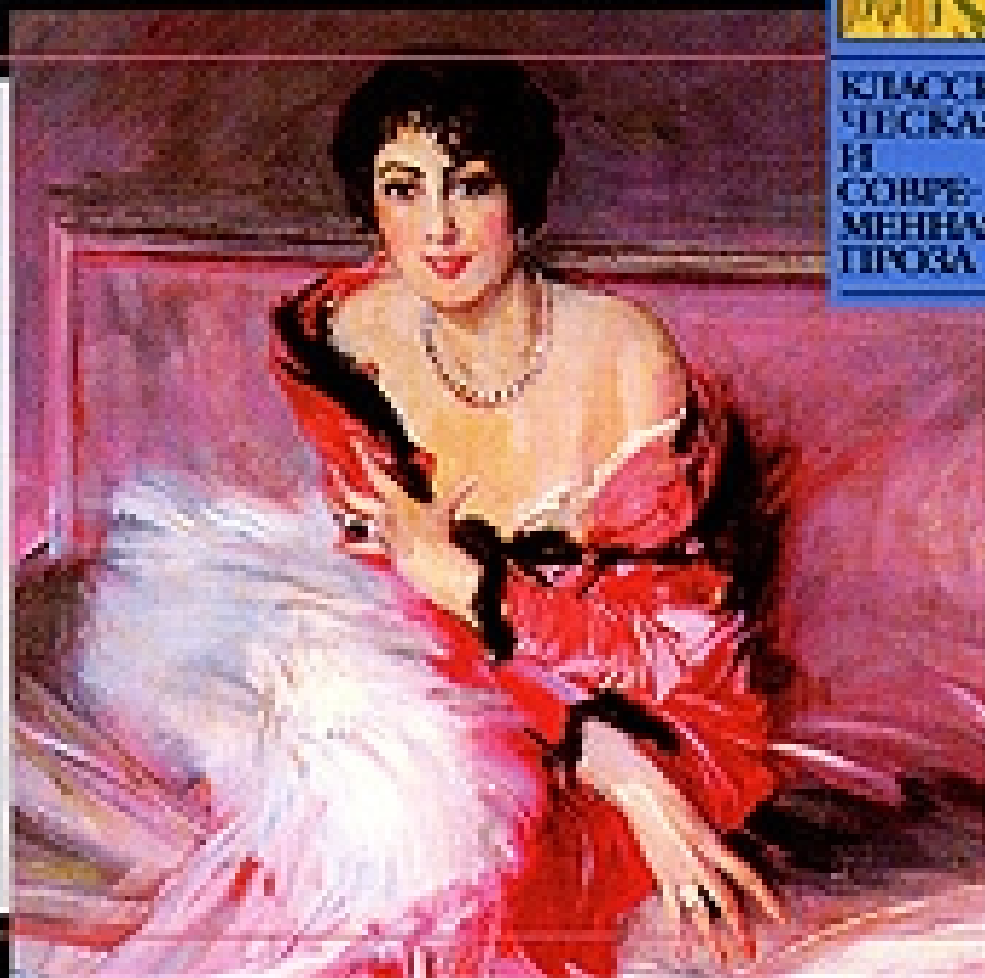




КЛАССИ-
ЧЕСКАЯ
И
СОВРЕ-
МЕННАЯ
ПРОЗА



Сомерсет

МОЭМ

Шесть рассказов,
написанных
от первого лица

Шесть
рассказов,
написанных от
первого лица

Предисловие (пер. Т. Казавчинская)

Я отважусь занять внимание читателей этой книги кратким пояснением. Если в каком-нибудь романе фигурирует адвокат по имени Смит, то существующий в реальной жизни адвокат по имени Смит, в соответствии с законом о клевете, может угрожать автору судебным преследованием, и поэтому писатели теперь нередко предваряют свои книги заверениями, что все их персонажи вымышлены. Положа руку на сердце, я могу заверить вас в том же самом относительно героев нижеследующих рассказов – всех, кроме одного. Именно из-за того, что это исключение из правил, я и считаю своим долгом объясниться. В данном случае я щепетилён более обычного, ибо меня неоднократно упрекали в том, что мои портреты обладают слишком явным сходством с реальными людьми, так что невозможно не узнать оригиналы, и винили в дурном вкусе. Если меня это и задевает, то не столько из-за собственной персоны (я привык к камням и стрелам яростной судьбы), сколько из-за критики как таковой. Мы, писатели, конечно, делаем все возможное, чтобы вести себя по-джентльменски, только не всегда нам это удается. Утешать себя приходится лишь тем, что очень и очень немногие писатели, и маленькие, и большие, совершенно не грешат вульгарностью – ибо вульгарна сама жизнь. Для меня давно не новость, что критики, которые в своем кругу не слишком выбирают выражения, а порой позволяют себе и скабрёзности, на страницах прессы предстают как ярые ревнители чистоты, и я убежден, что так тому и следует быть. Только опасаясь следующего: если вкусы у них станут чересчур изысканными, между ними и писателями, оценивать которых составляет их приятный долг, останется так мало общего, что почти исчезнет институт критики.

Я знал писателей, авторитетно заявлявших, что их персонажи даже отдаленно не похожи ни на кого из их знакомых, и я верю им безоговорочно. Зато меня больше не удивляет, что их персонажи, все до одного, напоминают деревянные, безжизненные манекены. Хорошо известно, что, задумывая тех или иных своих героев, многие прекрасные писатели отталкивались от людей, которых знали в жизни. Читая записки Анри Бейля, письма Флобера или дневники Жюль Ренара, замечаешь, как внимательно вглядывались все они в своих знакомых, если те могли им пригодиться при создании того или иного образа, и с холодной головой, без малейших угрызений совести заносили в записную книжку характерные, типичные черты. Как я понимаю, подавляющее большинство писателей, а уж лучшие – вне всякого сомнения, работали с натуры. Но не надо думать, что основывая образ на конкретном человеке, они снимали с него копию, как не стоит думать, что подобный вымышленный образ следует считать портретом соответствующего человека. Начнем с того, что они пропускали его через собственное восприятие, и значит – если речь идет об истинных писателях – увиденное ими отнюдь не совпадало с фактами реальной жизни. Они ведь брали только то, что было им необходимо, используя такого человека, словно вешалку, чтобы разместить на ней свои фантазии. Для того чтобы достигнуть своей цели, они наделяли образ чертами, которых у модели не было, и придавали ему последовательность и компактность. В реальном человеке, пусть даже самом выдающемся, часто слишком мало выразительности для художественных целей. Законченный характер, который сам по себе является скорее результатом разработки, нежели вымысла, – это и есть искусство, тогда как сырая, необработанная жизнь служит ему лишь материалом. Поэтому несправедливо, когда критики корят писателя тем, что в изображенном им характере заметно сходство с тем или иным известным им лицом, и уж совсем нелепо ожидать, что писатель ни при каких обстоятельствах не позаимствует черту или черты живых людей. Впрочем, достойно удивления, что главный упор в подобных обвинениях обычно делается на человеческие слабости. Так, если вы говорите о герое книги, что он добр к матери, но поколачивает жену, тут же раздаётся целый хор: «Да это Браун, но что за мерзость разглашать, что он подымает руку на жену», – и никому не приходит в голову вспомнить Джонса или, скажем, Робинсона,

которые славятся заботой о своих родительницах. Из чего я делаю довольно-таки неочевидный вывод, что мы судим о друзьях по недостаткам, а не по достоинствам.

Не может быть ничего опаснее, чем вводить в роман образ, списанный с живого человека, черта за чертой. Все его преимущества оказываются ложными, и, как ни странно, он не только не выигрывает рядом с прочими героями, но производит впечатление самого из них надуманного. Он всегда выглядит неубедительно. По этой самой причине никто из многочисленных писателей, которых привлекла оригинальная и мощная фигура покойного лорда Нортклиффа*, не справился с задачей и не сумел создать правдоподобный образ. В силу сказанного, я не без робости обращаю внимание читателей на Мортимера Эллиса – героя моего рассказа «Ровно дюжина». Я, разумеется, заменил его имя и пригасил кое-какие черты, иначе он бы развалил мне всю постройку. Я никогда не соглашусь, что это фотография, но отрицать не стану: это портрет – двух мнений быть не может. Признаюсь в содеянном. Но ведь никто не попрекает живописца, если он деформирует изображение для собственного удовольствия, а то и назло филистерам, и точно так же следует простить писателя, если подчас он чересчур свободно обращается с исходным материалом. В конце концов, писатель только человек, и коли он отдает себе отчет, что совершает грех против искусства, не будет ничего плохого, если он позволит себе иногда немного поразвлечься.

Мортимер Эллис теперь уже там, где «ни женятся, ни выходят замуж», – его не может огорчить написанный с него портрет. По воле обстоятельств, он не оставил после себя потомства, которое бы его оплакивало, зато оставил много жен и множество их родственников, и мне бы не хотелось оскорбить их чувства. Как человек доброжелательный, он, несомненно, оброс множеством друзей во время двух своих отсидок в тюрьме на острове Уайт, когда ел хлеб короля Георга V и отрабатывал его физическим трудом, и если я сказал что-нибудь для них обидное, приношу им свои искренние извинения. Меня оправдывает то, что Эллис был комической фигурой. Человек действия выражает себя в действии, и оно само о нем свидетельствует, но такой человек, как так называемый Мортимер Эллис, нуждается в хроникере. Могут сказать, что его известность должна была бы защитить его от моего пера, но ведь и самые известные среди людей – всего лишь человеки и, значит, могут служить материалом для писателя. Когда природа производит на свет фигляра, ему не пристало жаловаться на писателя, если тот изображает его – в полную меру отпущенного ему таланта – на потеху своим современникам, ибо это честная игра. Тем самым фигляр выполняет свое предназначение. А нам, по-моему, не стоит быть не в меру щепетильными. Средний роман живет месяца три, не больше, поэтому не будет ничего худого, если мы три недолгих месяца будем развлекать читателей.

Порядочность (пер. И. Гурова)

Хорошая гаванская сигара – что может быть лучше? Когда я был молод и очень беден и курил сигары, только если кто-нибудь меня угощал, я решил, что, появившись у меня когда-нибудь деньги, буду выкуривать по сигаре каждый день после ленча и после обеда. Это единственное решение дней моей юности, которое я выполнил. Единственная моя осуществившаяся мечта, не испорченная разочарованием. Я люблю мягкие, но душистые сигары – не маленькие, которые докуриваются прежде, чем войдешь во вкус, однако и не такие большие, чтобы успеть надоесть, – свернутые так, что можно затягиваться без напряжения, из листьев, достаточно твердых, чтобы не расползались на губах и сохраняли свой аромат до самого конца. Но после заключительной затяжки, положив в пепельницу бесформенный окурок и следя, как последний клуб дыма, голубея, рассеивается в воздухе, впечатлительный человек невольно испытывает грусть при мысли о трудах, стараниях, переживаниях, затратах, заботах и всем сложном механизме, потребном для того, чтобы доставить ему получасовое удовольствие, о сложной подготовке и организации, которых оно потребовало. Ради этого люди долгие годы обливались потом под тропическими небесами и

суда бороздили семь морей. Такие размышления становятся еще более язвящими, когда глотаешь дюжину устриц (с полбутылкой сухого белого вина), и обретают уже полную невыносимость, когда дело доходит до отбивной из молодого барашка. Ведь они же – живые существа, и ты с чем-то вроде благоговейного ужаса постигаешь, что с того момента, как поверхность Земли стала пригодной для обитания, на протяжении миллионов и миллионов лет из поколения в поколение возникали все новые живые существа, чтобы вот эти нашли свой конец на блюде с дробленным льдом или на серебряном рашпере. Вероятно, ленивое воображение не способно постичь жуткую торжественность проглатывания устрицы, да и эволюция научила нас, что двусторчатые моллюски в течение неисчислимых веков замыкались в себе жестом, который неизбежно убивает всякую симпатию. В нем есть высокомерная отчужденность, оскорбительная для предприимчивого человеческого духа, и самодовольство, ранящее его тщеславие. Но не представляю себе, как можно смотреть на баранью отбивную и не поддаться думам, слишком глубоким для слез: ведь здесь сам человек приложил руку, и история всего нашего рода неразрывно связана с куском нежного мяса на тарелке.

А порой даже судьба отдельных людей дает интересную пищу для размышлений. Так странно глядеть на них, самых обыкновенных и заурядных, – на банковского клерка, на подметальщика улиц, на пожилую хористку во втором ряду хора, – и думать о тянущейся за ними непрерывной истории, о долгой-долгой игре бесчисленных случайностей, благодаря которым ход событий привел их именно к этому часу в таком-то или таком-то месте. Если потребовалась столь колоссальная игра необходимости и случая, чтобы они вообще оказались здесь, то начинаешь думать, что в них заложено нечто невероятно важное, начинаешь думать, что их судьба должна иметь значение для Животворного Духа или еще чего-то там, что их сотворило. Они становятся жертвой рокового происшествия. Нить рвется. История, начавшаяся с сотворения мира, разом обрывается, и возникает впечатление, что она не значила ровно ничего. Повесть, рассказанная идиотом. И разве не странно, что событие столь драматической важности может быть вызвано абсолютно тривиальной причиной?

Мелкое происшествие, которое вполне могло бы вовсе не случиться, приводит к неисчислимым последствиям. Похоже, всем управляет слепая случайность. Мельчайший наш поступок может оказать глубочайшее воздействие на жизнь людей, которые не имеют к нам никакого отношения. История, что я хочу рассказать, не произошла бы, если б в тот день я не перешел через улицу. Жизнь поистине фантастична, и требуется особое чувство юмора, чтобы видеть ее смешные стороны.

Как-то весенним утром я неторопливо шел по Бонд-стрит и, не зная, чем заняться до ленча, решил заглянуть в аукционный зал Сотби посмотреть, не выставлено ли там что-нибудь интересное для меня. На улице образовалась пробка, и я лавировал между стоящих машин. На той стороне из шляпного магазина вышел человек, с которым я познакомился на Борнео.

– Здравствуйте, Мортон, – сказал я. – Когда вы приплыли?

– Около недели назад.

Он управлял там округом. Губернатор снабдил меня рекомендательным письмом, и я написал ему, что намерен провести неделю в тех местах и хотел бы остановиться в административной гостинице. Он встретил меня на пристани и пригласил пожить у него. Я начал отказываться. Мне не улыбалось провести неделю бок о бок с совершенно незнакомым человеком, я не желал вводить его в лишние расходы и к тому же полагал, что у меня будет больше свободы, если я поселюсь в гостинице. Но он и слушать не захотел.

– У меня масса свободного места, – сказал он, – а гостиница в жутком состоянии. Я уже полгода не разговаривал с европейцем и сыт по горло собственным обществом.

Но когда Мортон настоял на своем, и его катер доставил нас к его бунгалу, и он предложил мне выпить, мне стало ясно, что он понятия не имеет, как вести себя со мной дальше. Внезапно им овладела застенчивость, и, хотя до этого он говорил свободно и интересно, разговор тотчас иссяк. Я постарался, чтобы он чувствовал себя как дома

(наименьшее, что я мог сделать, принимая во внимание, что он и был у себя дома), и спросил, нет ли у него новых пластинок. Он завел граммофон, и звуки рэгтайма подбодрили его.

Бунгало стояло над рекой, и гостиной служила широкая веранда. Дом был обставлен с безликостью, характерной для жилищ государственных чиновников, которых почти без предупреждения переводят то туда, то сюда, в зависимости от требований службы. На стенах в качестве украшений висели туземные шляпы, рога разных животных, духовые трубки, стреляющие отравленными шипами, и копья. Книжную полку занимали детективные романы и старые журналы. В углу стояло пианино с пожелтевшими клавишами. Комната выглядела неприбранной, но удобной.

К сожалению, я почти не помню, как он тогда выглядел. Он был молод – как я узнал позднее, ему исполнилось двадцать восемь лет; его улыбка была мальчишеской и обаятельной. Я провел с ним очень приятную неделю. Мы катались на катере вверх и вниз по реке и поднимались на гору. Один раз пообедали у плантаторов, живших в двадцати милях, и каждый вечер посещали клуб. Единственными другими членами этого клуба были управляющий деревообрабатывающей фабрики и его помощники, но последние не разговаривали друг с другом, и составить партию в бридж нам удалось только потому, что Мортон уломал обоих не ставить его в неловкое положение перед гостем. Однако атмосфера оставалась напряженной. Мы возвращались из клуба, обедали, слушали граммофон и ложились спать. Канцелярской работой Мортон загружен отнюдь не был, и, казалось, ему было некуда девать свободное время. Но он обладал кипучей энергией и предприимчивостью. Он занимал подобный пост впервые и наслаждался своей независимостью. Боялся он только одного: вдруг его переведут отсюда, прежде чем он завершит начатое им строительство дороги. Дорога эта была его отрадой и утешением. Идея постройки принадлежала ему, и он же выбил у правительства деньги на строительство. Он сам произвел разведку местности и проложил трассу. Без посторонней помощи он решал возникающие технические проблемы. Каждое утро, прежде чем зайти в канцелярию, он ехал на дряхлом «форде» туда, где работали кули, и оценивал, сколько успели сделать с предыдущего дня. Он думал только о дороге. Она снилась ему по ночам. По его расчетам, строительство должно было завершиться через год, и до тех пор он не хотел брать отпуск. Он не мог бы вкладывать в свой труд больше пыла, даже будь он художником или скульптором, создающим шедевры. Пожалуй, именно эта увлеченность пробудила во мне симпатию к нему. Мне импонировал его пыл. Мне импонировала его изобретательность. И на меня произвела впечатление его страсть к созиданию, из-за которой он оставался безразличен к своему одиночеству, к возможности повышения по службе и даже к возвращению домой. Я забыл, какой длины была эта дорога – миль пятнадцать-двадцать, наверное, – и забыл, для чего она строилась. По-моему, Мортон это не так уж и интересовало. Его страсть была страстью художника, а его победа – победой человека над природой. Он учился в процессе стройки. Ему надо было одолевать джунгли, справляться с последствиями ливней, которые уничтожали труд многих недель, восполнять топографические просчеты. Ему надо было находить рабочих и удерживать их; ему не хватало денег. Силы он черпал из воображения. Его труд обрел эпический размах, и сопряженные с постройкой осложнения разворачивались в великую сагу из бесконечной череды эпизодов.

Он жаловался только на то, что сутки слишком коротки. У него были официальные обязанности, он был судьей и сборщиком налогов, отцом и матерью (в двадцать восемь лет) для жителей своего округа. А если его не оказывалось на месте, работа стояла. Он был бы рад проводить на стройке двадцать четыре часа в сутки, понукая вялых кули. Незадолго до моего приезда случилось происшествие, крайне его обрадовавшее. Еще раньше он предложил одному китайцу контракт на постройку участка дороги, но китаец запросил больше, чем Мортон мог заплатить. После нескончаемых переговоров они так и не пришли к соглашению, и Мортон, изнывая от бешенства, представил себе, как застопорится его работа. Он не знал, что делать. И тут, явившись утром к себе в канцелярию, он узнал, что накануне вечером в одном из китайских игорных домов произошла драка. В результате был ранен

какой-то кули, а ранил его упрямый подрядчик. Его привели в суд, улики были неопровержимы, и Мортон приговорил его к полутора годам каторжных работ.

– Теперь ему придется строить чертову дорогу бесплатно! – закончил Мортон, и пока он рассказывал мне эту историю, его глаза сияли.

Как-то утром мы увидели на строительстве этого подрядчика в тюремном саронге. Вид у него вовсе не был удрученным. К своему несчастью он отнесся философски.

– Я обещал ему скостить срок, когда дорога будет закончена, – сказал Мортон. – И он жутко обрадовался. Очко в мою пользу, а?

Прощаясь с Мртоном, я попросил его сообщить мне, когда он приедет в отпуск, и он обещал написать, как только сойдет на английский берег. Под влиянием минуты на такие приглашения не скупись, причем совершенно искренне. Однако, когда тебя ловят на слове, испытываешь далеко не приятное чувство. Дома люди так не похожи на себя за границей. Там они непринужденны, сердечны, естественны. От них можно услышать много интересного. Они невероятно гостеприимны. И возникает желание отплатить им за радушие таким же радушием. Но все не так просто. Люди, такие обаятельные в своей среде, кажутся очень серыми в вашей. Они держатся неловко и робко. Вы знакомите их со своими друзьями, и вашим друзьям они скучны до ломоты в скулах. Нет, ваши друзья стараются быть предельно любезными, но вздыхают с облегчением, когда чужаки уходят и разговор возвращается в привычное и приятное русло. Мне кажется, обитатели дальних краев очень скоро начинают прекрасно разбираться в ситуации, – возможно, в результате не одного горького и унижительного опыта. Во всяком случае, я убедился, что они не спешат воспользоваться приглашением, которое с такой сердечностью было сделано и столь же сердечно принято в маленьком селении посреди джунглей. Но Мортон был другим – молодым и неженатым. Обычно главные трудности возникают из-за жен. Женщины, с которыми их знакомишь, морщатся на их немодную одежду, с одного взгляда подмечают их провинциальность и замораживают их своим безразличием. Но мужчина играет в бридж и в теннис и танцует. Мортон обладал шармом. Я не сомневался, что через день-другой он твердо встанет на собственные ноги.

– Почему вы не сообщили мне, что вернулись? – спросил я.

– Подумал, вам вряд ли захочется, чтобы я вам надоедал, – улыбнулся он.

– Какая чепуха!

Разумеется, пока мы стояли на Бонд-стрит у края тротуара и разговаривали, он казался мне совсем незнакомым. До этой минуты я видел его одетым только в шорты цвета хаки и тенниску, если не считать вечеров, когда мы возвращались из клуба и он переодевался к обеду в пижамную куртку и саронг. Удобнейший вечерний костюм! В пиджаке и брюках из тонкой серо-голубой шерсти он выглядел как-то неуклюже. Лицо над белоснежным воротничком казалось почти шоколадным.

– Ну, а как дорога? – спросил я.

– Кончена! Я боялся, что придется отложить отпуск – под конец мы наткнулись на кое-какие помехи, но я заставил их пошевеливаться и накануне отъезда прокатился по ней из конца в конец на «форде» без единой остановки. Я засмеялся. Его восторг был очарователен.

– И чем вы занимались в Лондоне?

– Покупал во что одеться.

– Хорошо проводите время?

– Чудесно. Правда, в одиночку, но меня это не очень огорчает. Каждый вечер хожу в театр. В Лондоне думали остановиться Палмеры – по-моему, вы с ними познакомились в Сараваке – и мы собирались развлекаться вместе. Но им пришлось уехать в Шотландию. Ее мать очень больна.

Его слова, сказанные так беззаботно, больно меня задели. Обычная история, от которой надрывается сердце. За месяцы, долгие-долгие месяцы до отпуска, люди строят планы, как его проведут, и, сходя с парохода, сгорают от нетерпения. Лондон. Магазины, клубы, рестораны. Лондон. Они замечательно проведут время. Лондон. Он проглатывал их.

Незнакомый, кипящий суетой город, не враждебный, но глубоко равнодушный. Они в нем терялись. У них не было друзей. У них не было ничего общего со случайными знакомыми. Тут они оказывались более одинокими, чем в джунглях. Каким облегчением было наткнуться в театре на кого-то, с кем они были знакомы на Востоке (и возможно, считали его скучнейшим человеком или же терпеть не могли!). И они договаривались провести вечер вместе, веселились, заверяли друг друга в том, что великолепно проводят отпуск, и перебирали общих знакомых, а под конец несколько неловко признавались друг другу, что не пожалеют, когда отпуск кончится и надо будет вновь впрягаться в работу. Они ездили навестить родных и, конечно, радовались встрече с ними, но все было не как прежде, и они ощущали себя немножко лишними, а если уж напрямую, то жизнь, которую люди вели в Англии, казалась им смертоносной. Конечно, побывать дома – замечательно, но жить там они уже не могли и мечтали о своем бунгало над рекой, об объездах своего округа и о том, до чего же хорошо иногда вырваться ненадолго в Сандакан или Кучинг, а то и в Сингапур.

И поскольку я помнил, что предвкушал Мортон, когда дорога будет закончена и, освободившись от нее, он уедет в отпуск, то мне стало больно, едва я представил себе, как он обедает один в унылом клубе, где никого не знает, или в ресторане в Сохо, а потом отправляется смотреть спектакль – и не с кем поделиться впечатлениями, и не с кем выпить в антракте. В то же время я сознавал, что даже будь мне известно, что он в Лондоне, я ничего для него не сделал бы, так как всю последнюю неделю у меня не нашлось бы свободной минуты. Да и в тот вечер я обедал с друзьями, потом мы собирались в театр. А утром я отправлялся за границу.

– Что вы делаете сегодня вечером? – спросил я.

– Иду в «Павильон». Туда не попасть, но тут через дорогу есть один отличный малый, и он оставил для меня билет, который вернули. Знаете, один билет бывает гораздо легче достать, чем два рядом.

– А почему бы вам не поужинать со мной? Я пригласил друзей в «Хеймаркет», а после мы собираемся в «Сиро».

– Буду очень рад.

Мы договорились встретиться в одиннадцать, и я расстался с ним: мне было уже пора.

Я опасался, что друзья, с которыми я предполагал познакомить Мортон, не слишком его развлекут: они отнюдь не были молоды, но в это время года не приходилось надеяться, что у кого-нибудь из моих знакомых помоложе окажется свободный вечер. Да и ни одна из знакомых девушек не поблагодарила бы меня за приглашение поужинать и потанцевать с застенчивым молодым человеком из Малайи. Во всяком случае я мог твердо рассчитывать, что Бишопы постараются занять его, и, в конце-то концов, ему наверняка будет приятнее поужинать в клубе, послушать хороший оркестр, посмотреть на красивых танцующих девушек, чем отправиться спать в одиннадцать часов, потому что некуда себя девать. С Чарли Бишопом я познакомился в мою бытность студентом-медиком. Тогда он был худеньким замухрышкой со светло-рыжими волосами и грубоватыми чертами лица. Глаза у него, правда, были красивые – темные, блестящие, но он носил очки. Физиономия у него была круглая, веселая, румяная. От девушек он сходил с ума. Видимо, в нем что-то было, так как без денег и при всей своей невзрачности он умудрялся обзаводиться чередой подружек, ублагивавших его переменчивые вкусы. Он был умен и развязен, категоричен и вспыльчив. И очень остер на язык. Задним числом я сказал бы, что он был довольно-таки неприятным молодым человеком, но скучным я бы его не назвал. Теперь, заметно разменяв шестой десяток, он огрузнел, совершенно облысел, но его глаза за стеклами очков в золотой оправе все еще живо блестели. Он был догматичен и заметно самодоволен, по-прежнему категоричен и саркастичен. Когда знаешь кого-нибудь так долго, перестаешь замечать его недостатки. Принимаешь их безоговорочно, как принимаешь его физические изъяны. По профессии он был микробиологом и время от времени присылал мне свои тонкие книжечки, которые выходили в свет. Строго и сугубо специальные, иллюстрированные страшноватыми фотографиями бактерий. Я их не читал. По дошедшим до меня слухам я заключил, что

взгляды Чарли на проблемы, которыми он занимался, считались сомнительными. Не думаю, что он пользовался популярностью среди своих коллег – он не скрывал, что смотрит на них как на сборище бездарных дураков. Однако у него была работа, приносившая, если не ошибаюсь, от шести до восьми тысяч в год, а мнение других людей о нем оставляло его абсолютно равнодушным.

Чарли Бишоп нравился мне, потому что мы были знакомы тридцать лет, но Марджери, его жена, нравилась мне потому, что была очень милой женщиной. Я крайне удивился, когда он сообщил мне, что женится. Ему тогда было под сорок, и он отличался таким непостоянством в своих привязанностях, что, по моему глубокому убеждению, был прирожденным холостяком. Он очень любил женщин, но чувствительности в нем не было ни на йоту, и цели его не отличались высокой нравственностью. Его взгляд на женский пол в нынешнее идеалистическое время сочли бы циничным. Он знал, что ему требовалось, и искал этого, а если не мог получить ни за любовь, ни за деньги, пожимал плечами и шел дальше своей дорогой. Короче говоря, он искал в женщинах не воплощения идеала, а плотского удовольствия. И странно, если вспомнить о его маленьком росте и некрасивости, что он находил столько женщин, готовых уступить его желаниям. Удовлетворение же своим духовным запросам он находил у одноклеточных организмов. Он всегда отличался прямолинейностью, и когда я услышал от него, что он женится на Марджери Хобсон, еще молодой женщине, я без стеснения спросил его, почему. Он ухмыльнулся.

– По трем причинам. Во-первых, без этого она не ляжет со мной в постель. Во-вторых, с ней я хохочу, как гиена. И в-третьих, она совершенно одна в мире, без единого родственника, и кто-то же должен о ней заботиться.

– Первая причина – втирание очков. Вторая – пустой звук. А вот третья – подлинная, и это значит, что ты у нее на крючке.

Его глаза за большими стеклами очков мягко заблестели.

– Не удивлюсь, если ты абсолютно прав.

– Она не только держит тебя на крючке, но ты в восторге от этого.

– Давай завтра встретимся все вместе за ленчем, и ты сам поглядишь на нее. Она и вправду хороша.

Чарли был членом клуба, куда принимали и мужчин, и женщин, в те годы я и сам его часто посещал, и мы договорились позавтракать там. Марджери я нашел очень привлекательной. Тогда ей еще не исполнилось тридцати, и была она истинной леди. Этот факт я отметил про себя с удовольствием, но и с некоторым удивлением, так как от моего внимания не ускользнуло, что Чарли, как правило, влекло к женщинам, чья благовоспитанность оставляла желать лучшего. Она была не красива, но миловидна – прекрасные темные волосы, прекрасные глаза, хороший цвет лица, дышащего здоровьем. В ней чувствовалась мягкая искренность, и выглядела она подкупающе безыскусственной и прямодушной. Она производила впечатление честности, простоты и надежности. Я сразу проникся к ней горячей симпатией. Разговаривать с ней оказалось очень легко – сама она не говорила ничего слишком уж блестящего, но понимала, о чем говорят другие. Шутки она схватывала налету и не была неловко-застенчивой. Она производила впечатление практичности и деловитости. И еще в ней была тихая безмятежность, указывавшая на хороший характер и превосходное пищеварение.

Казалось, они очень нравятся друг другу. Едва увидев ее, я спросил себя, почему Марджери выходит за этого раздражительного коротышку, уже лысеющего и далеко не молодого, однако очень скоро я убедился, что причина была очень проста: она его любила. Они поддразнивали друг друга, много смеялись, а иногда их взгляды встречались, словно они обменивались очень личными весточками. Это было по-настоящему трогательно.

Неделю спустя они поженились в бюро регистрации браков. Их брак оказался на редкость удачным. Оглядываясь на прошедшие шестнадцать лет, я сочувственно засмеялся при мысли, в какое веселое приключение они превратили свою совместную жизнь. Я не встречал более дружной семейной пары. Денег у них было не так уж много. Но они словно

бы и не нуждались в деньгах. У них не было никаких честолюбивых, трудно осуществимых желаний. Свою жизнь они превратили в один нескончаемый пикник. Они жили в квартире на Пэнтон-стрит, теснее которой я нигде не видал. Маленькая спальня, маленькая гостиная и ванная, служившая также кухней. Но у них не было тяги к домашнему комфорту. Питались они в ресторанах и только завтракали у себя. Квартира служила им просто местом для ночлега, но была по-своему уютной, хотя гость, зашедший выпить виски с содовой, уже создавал тесноту, и Марджери с помощью приходящей уборщицы содержала ее в таком порядке, какой допускала неряшливость Чарли. Однако в ней не нашлось бы ни единой вещи, хоть что-то говорившей о ее обитателях. У них был маленький автомобиль, и когда Чарли брал отпуск, они отправлялись на этой машине на континент с двумя чемоданами (весь их багаж) и держали путь, куда глаза глядят. Поломки никогда их не расстраивали, скверная погода только добавляла веселья, лопнувшая шина служила источником бесконечных шуток, а если они сбивались с дороги и ночевали под открытым небом, это их чрезвычайно забавляло.

Чарли оставался раздражительным и категоричным, но Марджери сохраняла свою чудесную безмятежность, что бы он ни выкидывал. Она умела успокоить его одним словом. Ей все еще удавалось его рассмешить. Она перепечатывала его монографии о никому не ведомых бактериях и вычитывала гранки его журнальных статей. Как-то я спросил, бывает ли так, что они ссорятся.

– Нет, – ответила она. – У нас просто нет причин для ссор. У Чарли ангельский характер.

– Чушь, – сказал я. – Он придиричив, агрессивен и желчен. И всегда был таким.

Она посмотрела на мужа и хихикнула. Я понял, что она приняла мои слова за шутку.

– Пусть себе бредит, – сказал Чарли. – Он невежественный олух и употребляет слова, смысла которых не понимает.

Вместе им было очень хорошо. Общество друг друга доставляло обоим радость, и они старались быть вместе, насколько это было возможно. Даже после долгих лет брака Чарли в обеденный перерыв садился в машину, чтобы встретиться с Марджери в их обычном ресторане. Люди смеялись над ними, но по-доброму и, может быть, с небольшим комком в горле, потому что, когда их приглашали погостить за городом, Марджери писала в ответ, что они будут очень рады приехать, если им предоставят двуспальную кровать: они уже столько лет спят вместе, что иначе не в состоянии уснуть. Иногда это причиняло некоторые неудобства. Как правило, мужья и жены не только настаивали на отдельных комнатах, но были склонны обижаться, если их просили пользоваться общей ванной. Современные дома не приспособлены для любящих семейных пар, но их друзья твердо усвоили, что Бишопы примут приглашение, только если им будет предоставлена комната с двуспальной кроватью. Разумеется, некоторые находили это слегка неприличным, но гостями они были очень приятными, и неудобства, причиняемые их чудачеством, вполне искупались. Чарли всегда был душой общества, и его едкое остроумие не оставляло желать ничего лучшего, а от Марджери веяло покоем и непринужденностью. К тому же их не требовалось занимать. Ничто не доставляло им большего удовольствия, чем отправиться вдвоем в долгую прогулку по окрестностям.

Когда человек вступает в брак, жена рано или поздно отваживает его прежних друзей, но Марджери, напротив, всячески укрепляла их близость с Чарли. Смягчив его нетерпимость, она сделала его общество более приятным. Они производили впечатление не семейной пары, но, как ни забавно, двух поселившихся вместе холостяков. И когда Марджери, что случалось постоянно, оказывалась единственной женщиной в компании полудюжины мужчин, спорящих, отпускающих соленые шуточки и веселящихся, она не только не охлаждала этот дух товарищества, но активно его поддерживала. Бывая в Англии, я всегда виделся с ними. Обычно они обедали в клубе, про который я упомянул, и когда заходил туда один, то часто присоединялся к ним.

Когда мы встретились вечером перекусить перед театром, я сказал им, что пригласил к

ужину Мортон.

– Боюсь, он будет вам неинтересен, – сказал я. – Но он очень милый молодой человек, и, когда я был на Борнео, оказал мне массу любезностей.

– Почему вы не предупредили меня заранее? – воскликнула Марджери. – Я бы пригласила какую-нибудь девушку.

– Зачем девушка, – сказал Чарли, – если будешь ты?

– Не думаю, что молодому человеку так уж приятно танцевать с дамой в годах, вроде меня, – сказала Марджери.

– Чепуха. При чем тут твой возраст? – Он обернулся ко мне. – Тебе доводилось танцевать с лучшей партнершей?

Доводиться-то доводилось, но, бесспорно, она танцевала прекрасно. Очень легко и с отличным чувством ритма.

– Никогда! – ответил я со всей искренностью.

Мортон уже ждал нас в «Сиро». В вечернем костюме он выглядел очень загорелым. Я догадывался, что четыре года костюм пролежал в жестяном сундучке в нафталине, и, возможно, поэтому мне показалось, что Мортон чувствует себя в нем не очень свободно. Бесспорно, в шортах он держался куда непринужденнее. Чарли Бишоп умел поддерживать разговор и любил слушать самого себя. Мортон стеснялся. Я поставил ему коктейль и заказал шампанского. У меня возникло подозрение, что ему хочется танцевать, но я не знал, догадается ли он пригласить Марджери. Меня не оставляло ощущение, что мы принадлежим к разным поколениям.

– К вашему сведению хочу заметить, что миссис Бишоп чудесно танцует, – сказал я.

– Правда? – Он чуть покраснел. – Можно вас пригласить?

Она встала, и они вошли в круг. В этот вечер она выглядела особенно мило, хотя совсем не образцом элегантности – думаю, ее простое черное платье стоило не больше шести гиней, – но она казалась истинной леди. Волей судеб у нее были длинные стройные ноги, а в то время юбки еще носили довольно короткие. Полагаю, она чуть-чуть подкрасилась, но по контрасту с другими женщинами в зале выглядела очень естественной. Короткая стрижка ей шла, в упругих глянцевитых волосах не было и намека на седину. Красавицей она не была, но ее доброта, естественный, дышащий здоровьем вид, если и не создавали видимость красоты, то вызывали ощущение, что красота никакого значения не имеет. Когда они вернулись к столику, глаза у нее сияли, лицо порозовело.

– Ну, как он танцует? – спросил ее муж.

– Божественно.

– С вами так легко танцевать, – сказал Мортон.

Чарли продолжал свои рассуждения. Он обладал сардоническим юмором и был интересен, потому что его самого очень интересовало то, о чем он говорил. Однако говорил он о вещах, о которых Мортон понятия не имел, и хотя тот слушал с вежливым вниманием, я видел, что общая атмосфера веселости, музыка, шампанское опьянили его, и он ничего не слышит. Когда оркестр снова заиграл, он выразительно посмотрел на Марджери. Чарли перехватил этот взгляд и улыбнулся.

– Потанцуй с ним, Марджери. Мне для моей фигуры очень полезно наблюдать, как ты занимаешься физическими упражнениями.

Они снова вступили в круг, и несколько секунд Чарли следил за женой любящим взглядом.

– Марджери наслаждается. Она любит танцевать, а я пыхчу и отдуваюсь. Приятный юноша.

Вечер с моей легкой руки удался на славу, и когда мы с Мортон, попрощавшись с Бишопами, пошли вместе к Пикадилли-Серкус, он от души меня поблагодарил. Он по-настоящему хорошо провел время. Я попрощался с ним. А на следующее утро я уехал из Англии.

Мне было жаль, что я не успел сделать для Мортон больше ничего, и я знал, что он

будет уже в пути на Борнео, когда я вернусь. Иногда я вспоминал о нем, но к осени, когда я вернулся домой, он совсем стерся у меня из памяти. Пробыв в Лондоне около недели, я как-то вечером заглянул в клуб, членом которого состоял и Чарли Бишоп. Он сидел в компании трех-четырех наших общих знакомых, и я подошел к ним. После возвращения я еще ни с кем из них не виделся. Билл Марш, чья жена была большой моей приятельницей, предложил мне выпить.

– Откуда ты взялся? – спросил Чарли. – Тебя что-то давно не было видно.

Я сразу заметил, что он пьян. И удивился. Чарли всегда любил выпить, но хорошо переносил алкоголь и знал меру. В давние годы, когда мы были молоды, он иногда напивался, но, пожалуй, больше для того, чтобы показать, какой он свойский, и нечестно ставить в упрек человеку его юношеские излишества. Но я помнил, что, пьянея, Чарли начинал вести себя воинственно. Его природная агрессивность вырывалась из-под контроля, он говорил слишком много и слишком громко, и готов был по любому поводу затеять ссору. Вот и теперь он был безапелляционен в своих суждениях и отметал любые возражения, какими бы вескими они ни были. Его собеседники понимали, что он пьян, и колебались между раздражением, которое вызывала его сварливая вздорность, и добродушной снисходительностью к его состоянию. Смотреть на него было неприятно. Человек такого возраста, лысый, грузный, в очках, отвратителен, когда пьян. Обычно он следил за своей внешностью, но сейчас выглядел очень неряшливо – его одежда была обсыпана табачным пеплом. Чарли подозвал официанта и заказал еще виски. Официант служил в клубе уже тридцать лет.

– Оно перед вами, сэр.

– Держи свой проклятый язык за зубами, – потребовал Чарли Бишоп. – Принеси мне двойное виски сию же минуту, не то я сообщу секретарю, как ты дерзишь.

– Хорошо, сэр, – сказал официант.

Чарли залпом выпил свою стопку, но рука у него дрожала, и он выплеснул часть виски на костюм.

– Что же, Чарли, старина, нам, пожалуй, пора, – сказал Билл Марш и обернулся ко мне. – Чарли пока гостит у нас.

Я удивился еще больше. Но предпочел промолчать: что-то явно было не так.

– Я готов, – сказал Чарли. – Вот только выпью напоследок. Буду спать крепче.

Мне показалось, что они разойдутся еще не скоро, а потому встал и сказал, что, пожалуй, пройдусь домой пешком.

– Послушайте, – сказал Билл, когда я уже отошел от столика. – Вы не пообедаете у нас завтра, а? Только я, Дженет и Чарли?

– С удовольствием, – сказал я.

Несомненно, что-то было совсем не так.

Марши жили в доме у восточного края Риджент-Парка.

Открывшая мне горничная попросила меня пройти в кабинет мистера Марша. Билл ждал меня там.

– Я подумал, мне лучше поговорить с вами, прежде чем вы подниметесь в гостиную, – сказал он, пожимая мне руку. – Вы знаете, что Марджери оставила Чарли?

– Не может быть!

– Он переживает это очень глубоко. Дженет подумала, как ему должно быть тяжело в этой отвратительной квартирке, и мы пригласили его пока пожить у нас. Он пьет до посинения. Две недели совсем не спит.

– Но не могла же она бросить его совсем?

Я был ошеломлен.

– Но так и есть. Она без ума от какого-то типа по фамилии Мортон.

– Мортон? Кто это?

Мне и в голову не пришло, что это может быть мой знакомый с Борнео.

– Черт побери! Это же вы их познакомили и натворили дел! Идемте наверх. Я подумал,

что вас надо предупредить.

Он открыл дверь, и мы вышли. Я был совершенно сбит с толку.

– Но послушайте! – сказал я.

– Спросите Дженет. Ей известно все. А я ничего не понимаю. Не нахожу извинений для Марджери, а Чарли, видимо, совсем разбит.

В гостиную Билл вошел первым. Дженет Марш поднялась мне навстречу. Чарли сидел у окна с вечерней газетой. Он отложил ее, когда я подошел к нему и пожал руку. Он был совершенно трезв и говорил в обычной своей несколько отрывистый манере, но я заметил, что вид у него совершенно больной. Мы выпили по рюмке хереса и спустились в столовую. Дженет была энергичной высокой блондинкой с приятным лицом. За столом она умело поддерживала разговор. Когда она оставила нас выпить по стаканчику портвейна, то со строжайшим наказом не задерживаться дольше, чем на десять минут. Билл, как правило, довольно молчаливый, на этот раз говорил почти без умолку. Я неловко поддерживал их игру. Я не знал, что, собственно, произошло, и это очень меня сковывало, но одно было достаточно ясно: Марши старались как-то отвлечь Чарли, и я всячески старался его заинтересовать. Он, казалось, готов был играть свою роль – он всегда любил показывать себя стойком – и высказал свое мнение, как специалиста, о последнем сенсационном убийстве. Но говорил он мертво. От него осталась только оболочка, и возникало впечатление, что мысли его далеко, хотя приличия ради он заставляет себя говорить. Я почувствовал большое облегчение, когда стук в дверь возвестил, что Дженет потеряла терпение. Это был тот случай, когда присутствие женщин смягчает ситуацию. Мы поднялись в гостиную и сели играть в бридж. Когда мне настало время уходить, Чарли сказал, что пройдет со мной до Мэрилебоун-роуд.

– Чарли, уже поздно! Ложитесь-ка лучше спать, – сказала Дженет.

– Мне будет легче уснуть после прогулки, – ответил он.

Она взглянула на него с тревогой. Нельзя запретить пожилому профессору микробиологии пойти прогуляться, если он этого хочет.

Она весело поглядела на мужа.

– Думаю, Биллу прогулка перед сном тоже не повредит.

По-моему, это было бестактно. Женщины часто чуть-чуть излишне настойчивы. Чарли ответил ей угрюмым взглядом.

– Нет абсолютно никакой нужды вытаскивать Билла из дома, – сказал он с некоторой категоричностью.

– А я и не собирался, – заметил Билл с улыбкой. – Я совсем вымотался. Мне пора на боковую.

Полагаю, когда мы вышли, Биллу и его жене нашлось, что сказать друг другу.

– Они страшно добры ко мне, – сказал Чарли, когда мы пошли вдоль решетки парка. – Не знаю, что было бы со мной без них. Я не сплю две недели.

Я выразил сожаление, но не осведомился о причине, и некоторое время мы шли молча. Я предполагал, что он пошел со мной, чтобы поговорить о том, что случилось, но, видимо, его не следовало торопить. Я был бы рад выразить свое сочувствие, но боялся сказать что-нибудь не то. Мне не хотелось создавать впечатление, будто я напрашиваюсь на его откровенность. Я не знал, как помочь ему заговорить, да и был уверен, что в подталкивании он не нуждается: уклончивость и колебания были не в его натуре. Я решил, что он подыскивает слова. Мы дошли до угла.

– У церкви вы, наверное, найдете такси, – сказал он. – А я еще немного пройду. Спокойной ночи.

Он кивнул и пошел прочь. Я растерялся. Но мне ничего не оставалось, как идти дальше, пока я не нашел такси. Утром телефонный звонок вытащил меня из ванны. Обернув мокрое тело полотенцем, я взял трубку. Звонила Дженет.

– Нет, только подумать! – сказала она. – Вы что-то долго не могли расстаться с Чарли. Я слышала, как он вернулся в три ночи.

– Он попрощался со мной на Мэрилебоун-роуд, – ответил я. – А до этого не сказал мне

ни слова.

– Неужели?

Что-то в голосе Дженет подсказало мне, что она приготовилась к длинному разговору. Я подозревал, что телефон стоит рядом с ее кроватью.

– Послушайте, – сказал я быстро, – я принимаю ванну.

– Так у вас есть телефон в ванной? – отозвалась она оживленно и, как мне показалось, с завистью.

– Нет, – сказал я коротко и твердо. – И я обкапал весь ковер.

– А-а! – в ее тоне я уловил разочарование и досаду. – Ну, так когда же я вас увижу? Вы не могли бы сюда заехать в двенадцать?

Это было не слишком удобно, но я не хотел ввязываться в спор.

– Хорошо. До свидания.

Я повесил трубку, прежде чем она успела сказать что-нибудь еще. На небесах, когда блаженные души говорят по телефону, они прямо переходят к делу без единого лишнего слова.

Я очень привязан к Дженет, но мне известно, что для нее нет ничего более увлекательного, чем несчастья ее друзей. Она всей душой стремится помочь, но ей хочется быть в самом центре их горестей. Она истинный друг в беде. Чужие дела служат ей хлебом насущным. Не успевал у вас завязаться роман, как она каким-то образом оказывалась вашей наперсницей, а если вы были так или иначе причастны к разводу, сразу же выяснялось, что без нее тут тоже не обошлось. При всем том она была очень милая женщина. И я невольно усмехнулся про себя, когда в полдень вошел в ее гостиную и заметил, как она, здороваясь со мной, подавляет жадное нетерпение. Ее очень расстроила постигшая Бишопов катастрофа, но все это так захватывало, что она была в восторге заполучить кого-нибудь неосведомленного, чтобы все ему выложить. В Дженет чувствовалась та озабоченность, с какой мать обсуждает с семейным доктором первую беременность замужней дочери. Дженет прекрасно понимала, что тема крайне серьезная, и ни на секунду не собиралась допускать каких-либо двусмысленных намеков, однако намеревалась извлечь из нее всю пикантность до последней капли.

– Никто не мог бы прийти в больший ужас, чем я, когда Марджери мне сказала, что наконец решила оставить Чарли, – начала она с красноречивостью, свидетельствовавшей, что все это уже говорилось по меньшей мере раз десять и теми же самыми словами. – Более преданных друг другу супругов я не знавала. Это был идеальный брак. Они удивительно ладили между собой. Разумеется, мы с Биллом очень любим друг друга, но порой ужасно ссоримся. То есть, иногда я просто готова его убить.

– Меня абсолютно не интересуют ваши с Биллом отношения, – сказал я. – Расскажите про Бишопов. Я ведь ради этого и приехал.

– Я просто должна была вас увидеть! В конце концов, только вы способны объяснить это.

– О Господи, не надо! Пока Билл меня вчера не предупредил, я вообще ничего не знал.

– Это я ему подсказала. Меня вдруг осенило, что вы ничего не знаете и можете допустить жуткую бестактность.

– Да начните же с начала! – сказал я.

– Так ведь начало – вы сами. Как-никак, это ваших рук дело. Молодого человека познакомили с ними вы. Вот почему мне так безумно хотелось вас увидеть. Вы же все про него знаете. А я так даже ни разу его не видела. Мне известно только то, что рассказывала про него Марджери.

– В котором часу у вас встреча в ресторане?

– В половине второго.

– У меня тоже. Так продолжайте же!

Однако мои слова навели Дженет на новую мысль.

– Послушайте, отмените свою встречу, если я сумею отменить свою! Перекусим здесь.

Я уверена, на кухне что-нибудь найдется, а нам не надо будет торопиться. В парикмахерскую мне нужно только к трем.

– Нет-нет-нет, – сказал я. – Меня это не устраивает. Я уйду отсюда в двадцать минут второго, самое позднее.

– Тогда мне придется мчаться галопом. Какого мнения о Джерри вы сами?

– Кто такой Джерри?

– Джерри Мортон. Его имя Джеральд.

– Откуда мне знать?

– Так вы же гостили у него. Неужели на столах не было никаких писем?

– Возможно, и были. Только я-то их не читал! – ответил я не без колкости.

– Не говорите глупостей! Я имела в виду адрес на конвертах. Так какой он?

– Ну, ладно. В общем, киплингковский тип. Увлечен своей работой. Искренен. Строитель империи и все такое прочее.

– Да я не об этом! – вскричала Дженет с заметной досадой. – Как он выглядит?

– Ну, по-моему, вполне заурядно. Естественно, я его узнаю, если опять увижу, но представляю я его себе довольно смутно. Вид у него подтянутый.

– О Господи! – простонала Дженет. – Вы писатель или нет? Какого цвета у него глаза?

– Не знаю.

– Вздор! Невозможно провести с человеком неделю и не заметить, голубые у него глаза или карие! Он блондин или брюнет?

– Не то и не другое.

– Высокий, невысокий?

– Среднего роста, я бы сказал.

– Вы нарочно меня злите?

– Нет. Просто он ничем не примечателен. Самая обыкновенная внешность, не некрасив и не красавец. Он выглядит, как благовоспитанный человек. Как джентльмен.

– Марджери говорит, что у него обаятельная улыбка и чудесная фигура.

– Вполне возможно.

– Он от нее без ума.

– Почему вы так считаете? – осведомился я сухо.

– Я читала его письма.

– Вы хотите сказать, что она вам их показывала?

– Ну, разумеется.

Мужчине всегда нелегко переварить отсутствие сдержанности, которое характеризует женщин в самом, казалось бы, личном. Они без малейшего смущения беседуют друг с другом на интимнейшие темы. Скромность – добродетель мужчин. Однако, хотя мужчина теоретически это знает, он испытывает шок всякий раз, сталкиваясь с женской несдержанностью. Что бы подумал Мортон, пришло мне в голову, узнай он, что кроме Марджери его письма читала еще и Дженет Марш, больше того – что она день за днем узнавала самые свежие новости о его влюбленности. По словам Дженет, он влюбился в Марджери с первого взгляда. Наутро после того, как они познакомились за дружеским ужином, который я устроил в «Сиро», он позвонил ей по телефону и пригласил выпить чаю где-нибудь, где они могли бы потанцевать. Слушая Дженет, я, естественно, понимал, что она сообщает точку зрения Марджери на происходившее, и не делал никаких выводов. Я с интересом заметил, что симпатии Дженет отданы Марджери. Бесспорно, когда Марджери оставила мужа, именно Дженет решила пригласить Чарли пожить у них две-три недели вместо того, чтобы ему томиться в тоскливом одиночестве в опустевшей квартире, и окружила его сердечнейшими заботами. Ела с ним в ресторанах почти каждый день, потому что он привык встречаться с Марджери за ленчем; водила его гулять в Риджент-Парк и заставляла Билла играть с ним в гольф по воскресеньям. Она с изумительным терпением выслушивала его жалобы и утешала как могла. Ей было ужасно его жаль. И тем не менее, она решительным образом была на стороне Марджери, а когда я выразил ей мое неодобрение,

стерла меня в порошок. Этот роман вызывал у нее восторженное волнение. Она была посвящена во все с самого начала, когда улыбающаяся Марджери, очень польщенная и немного неуверенная, пришла рассказать ей о своем знакомстве с молодым человеком, и до финальной сцены, когда Марджери в отчаянии и растерянности объявила, что больше не в силах выносить такого напряжения, а потому собрала вещи и ушла из дома.

– Разумеется, сначала я не поверила своим ушам, – сказала Дженет. – Вы ведь знаете, как близки были Марджери и Чарли. Друг без друга ступить не могли. Просто невозможно было удержаться от смеха, глядя, как они друг на друга не надышатся. Я никогда не считала его таким уж приятным человечком, и, видит Бог, он не слишком привлекателен внешне, и все-таки он подкупал своей преданностью Марджери. Я ей иногда почти завидовала. У них не было денег, и жили они тят-ляп, но были жутко счастливы. Конечно, мне и в голову не приходило, что это может к чему-то привести. Марджери только посмеивалась. «Естественно, я не отношусь к этому серьезно, – говорила она мне, – но так весело в моем возрасте обзавестись молодым поклонником! Мне уже столько лет никто не присылал цветов. Пришлось настоять, чтобы он перестал присылать цветы, потому что Чарли сочтет это глупым. У него в Лондоне нет ни одной знакомой души, а он любит танцевать и говорит, что я танцую, как фея. Ему тоскливо все время ходить в театр одному, и мы побывали на двух-трех дневных спектаклях. Трогательно смотреть, как он бывает благодарен, когда я обещаю пойти с ним.». «Должна признать, – сказала я, – что, судя по твоим словам, он сущий агнец». «Так и есть, – сказала она. – Я знала, что ты поймешь. Ты меня не винишь, ведь правда?» «Конечно, нет, дорогая, – сказала я. – Ты ведь меня знаешь. На твоём месте я вела бы себя точно так же.»

Марджери не делала тайны из своих встреч с Мортонем, и Чарли добродушно поддразнивал ее таким обожателем. Однако считал его очень воспитанным, приятным молодым человеком и был только рад, что Марджери есть с кем поразвлечься, пока он занят. Ему и в голову не приходило ревновать. Они несколько раз обедали втроем, а потом отправлялись в театр. Но вскоре Джерри Мортон стал упрашивать Марджери провести вечер с ним одним. Она отвечала, что это невозможно, но он был настойчив, убедителен, и, наконец, она пошла к Дженет и попросила ее позвонить Чарли и пригласить его на обед, объяснив, что им нужен четвертый партнер для партии в бридж. Чарли никуда не ходил без жены, однако Марши были старинными друзьями, и Дженет настояла. Она сочинила какую-то историю, из которой следовало, что ему непременно надо согласиться. На следующий день она встретила Марджери. Вечер прошел чудесно. Марджери и Мортон поужинали в «Мейденхед», танцевали, а потом возвращались домой под звездами летней ночи.

«Он говорит, что без ума от меня», – сказала Марджери.

«Он тебя поцеловал?» – спросила Дженет.

«О, конечно! – Марджери засмеялась. – Не будь дурочкой, Дженет. Он ужасно мил, и, знаешь, у него такая хорошая душа. Конечно, я не верю и половине того, что он говорит».

«Моя дорогая, ты же не влюбишься в него!».

«Уже влюбилась», – сказала Марджери.

«Дорогая, это ведь будет не очень ловко?».

«Но недолго. В конце-то концов осенью он возвращается на Борнео».

«Ну, нельзя отрицать, что выглядишь ты гораздо моложе».

«Знаю. Я и чувствую себя гораздо моложе».

Вскоре они уже встречались каждый день. Утром гуляли вместе по парку или посещали какую-нибудь картинную галерею. Они расставались, чтобы Марджери могла встретиться с мужем за ленчем, а потом снова воссоединялись и ехали в автомобиле за город или в какое-нибудь местечко на Темзе. Марджери ничего не рассказывала мужу. Она, вполне естественно, считала, что он не поймет.

– Как получилось, что вы так и не познакомились с Мортонем? – спросил я Дженет.

– Она не хотела. Видите ли, мы с Марджери принадлежим к одному поколению. И я ее

понимаю.

– Ах, так!

– Разумеется, я делала все, что могла. Когда она отправлялась куда-нибудь с Джерри, считалось, что она проводит время со мной. Я принадлежу к тем людям, которые ставят все точки над «i»

– Между ними что-то было?

– О, нет! Марджери не такая женщина.

– Откуда вы знаете?

– Она бы мне рассказала.

– Пожалуй.

– Разумеется, я ее спросила. Но она отрицала наотрез, и я уверена, что она говорила правду. Между ними ничего такого не было. Ни тени.

– По-моему, это странно.

– Но, видите ли, Марджери очень порядочная женщина.

Я пожал плечами.

– Она была абсолютно верна Чарли. И не обманула бы его ни за что на свете. Ей и так было невыносимо держать от него что-то в тайне. Как только она поняла, что влюблена в Джерри, она хотела признаться Чарли. Конечно, я умоляла ее этого не делать. Я сказала, что это ничему не поможет и только причинит боль Чарли. В конце-концов мальчик уедет через пару месяцев, и какой смысл поднимать историю из-за того, что долго не продлится?

Однако неминуемый отъезд Джерри и стал причиной катастрофы. Бишопы, как всегда, готовились отправиться за границу – совершить автомобильную поездку по Бельгии, Голландии и Северной Германии. Чарли с головой ушел в дорожные карты и путеводители. Он расспрашивал друзей о шоссе и отелях. Он предвкушал отпуск с бурлящим восторгом школьника. Марджери слушала его, и ее сердце наливалось тяжестью. Их не будет четыре недели, а в сентябре Джерри уедет. Им остается так мало времени! И лишиться такой значительной его части было нестерпимо. Мысль об автомобильной поездке выводила ее из себя. Времени оставалось все меньше и меньше, и она все больше и больше теряла власть над собой. Наконец она решила, что есть только один выход.

«Чарли, я не хочу ехать, – неожиданно перебила она, когда он рассказывал ей о ресторане, про который только что услышал. – Может быть, ты пригласишь кого-нибудь поехать с тобой?»

Он недоумевающе посмотрел на нее. Ее ошеломили собственные слова, и губы у нее чуть-чуть задрожали.

«Но почему? Что случилось?».

«Ничего не случилось. Просто у меня нет настроения. Я хотела бы пожить некоторое время одна».

«Ты больна?».

Она увидела страх у него в глазах. Страх за нее, и она не выдержала.

«Нет. Я еще никогда себя так хорошо не чувствовала. Я влюблена».

«Ты? В кого?».

«В Джерри».

Он изумленно уставился на нее. Он не верил собственным ушам. Она неверно истолковала выражение его лица.

«Упрекать меня нет смысла. Я ничего не могу с этим поделать. Он уедет через несколько недель. Я не хочу напрасно терять то недолгое время, которое он еще здесь пробудет».

Чарли расхохотался.

«Марджери, как можно быть такой дурой? Ты же ему в матери годишься».

Она покраснела.

«Он влюблен в меня не меньше, чем я в него».

«Он тебе это говорил?».

«Тысячу раз».

«Чертов враль, только и всего».

Он рассмеялся. Его пухлый животик затрясся от смеха. Ему это казалось препотешной шуткой.

Возможно, Чарли взял с женой неверный тон. Дженет, похоже, думала, что ему следовало быть нежным и чутким. «Он должен был бы понять!» Я представил себе рисовавшуюся ей картину: мужественная сдержанность, безмолвная печаль и, в заключение, – добровольный отказ от всех своих прав. Женщины всегда живо чувствуют красоту чужих самопожертвований. Дженет посочувствовала бы ему и в том случае, если бы он пришел в неистовый гнев, сокрушил кое-что из мебели (вместо поломанной ему пришлось бы купить новую) или дал Марджери в челюсть. Но смеяться над ней было непростительно. Я воздержался от замечания, что для довольно полного и не очень высокого профессора микробиологии пятидесяти пяти лет было бы крайне трудно внезапно перевоплотиться в пещерного человека.

Как бы то ни было, поездка по Бельгии не состоялась, и август Бишопы провели в Лондоне. Они были не слишком счастливы. Встречались за ленчем и обедом каждый день в силу многолетней привычки, а остальное время Марджери проводила с Джерри. Часы с ним искупали все, с чем ей приходилось мириться, а мириться ей приходилось с очень многим. В саркастическом юморе Чарли был определенный площадной оттенок, он постоянно отпускал шуточки по ее адресу и адресу Джерри и отказывался отнестись к происходящему серьезно. Он злился на Марджери за ее глупое поведение, но, видимо, ему и в голову не приходило, что она может быть ему неверна. Я справился у Дженет.

– Ни малейших подозрений у него не было. Он слишком хорошо знает Марджери.

Недели шли своей чередой, и наконец Джерри отправился назад на Борнео. Отплывал он из Тилбери, и Марджери поехала его проводить. Вернувшись домой, она проплакала двое суток. Чарли следил за ней с возрастающим раздражением. Нервы у него совсем истрепались.

«Послушай, Марджери, – сказал он в конце концов, – я был очень терпелив с тобой, но теперь тебе пора взять себя в руки. Это уже выходит за пределы шутки».

«Почему ты не можешь оставить меня в покое? – вскрикнула она. – Я потеряла все, чем жизнь меня радовала».

«Не будь душой!» – сказал он.

Не знаю, что еще он ей сказал. Но он был настолько неразумен, что выложил ей сполна свое мнение о Джерри и, насколько я понял, портрет набросал самый черный. Это вызвало первую бурную сцену между ними за всю их супружескую жизнь. Она терпела насмешки Чарли, пока знала, что увидится с Джерри через час или на следующий день, но теперь, когда тот был потерян для нее навсегда, она больше не могла их сносить. Неделю за неделей она держала себя в руках, но теперь потеряла всякую власть над собой. Возможно, она сама толком не знала, что именно наговорила Чарли. Он всегда был раздражителен, и кончилось тем, что он ее ударил. Оба перепугались. Он схватил шляпу и выскочил из дому. Все это тягостное время они продолжали спать в одной постели, но когда Чарли вернулся домой после полуночи, то обнаружил, что она постелила себе на диване в гостиной.

«Не можешь же ты спать здесь, – сказал он. – Не глупи. Спи в постели».

«Нет, не хочу. Оставь меня в покое».

Они препирались до утра, но она настояла на своем и с тех пор каждый вечер стелила себе на диване в гостиной. Однако в крохотной квартире они не могли уединиться друг от друга – не могли не видеть и не слышать друг друга. Они прожили в такой близости столько лет, что быть вместе стало для них естественной потребностью. Он пытался урезонить ее. Он считал ее неописуемо глупой и без конца спорил с ней, силясь доказать, как она неразумна и упряма. Он не мог оставить ее в покое. Он не давал ей уснуть и говорил, говорил ночи напролет, пока оба совсем не лишались сил. Ему казалось, что он сумеет убедить ее не любить. По два-три дня они вовсе не разговаривали. Однажды, вернувшись домой, он застал

ее в слезах. Это так на нее подействовало, что он стал заверять ее в любви и попытался тронуть, напомнив о долгих счастливых годах, которые они прожили вместе. Он хотел простить и забыть. Он обещал никогда впредь не упоминать о Джерри. Неужели они не смогут забыть пережитый кошмар? Однако мысль обо всем, что подразумевало примирение, была ей глубоко противна. Она сказала ему, что у нее невыносимо болит голова, и попросила снотворного. Наутро, когда он уходил, она притворилась спящей, но едва за ним закрылась дверь, как она собрала свои вещи и ушла из дому. У нее были кое-какие доставшиеся по наследству драгоценности, продав которые, она сняла комнату в дешевом пансионе. Свой адрес от Чарли она скрывала.

И вот, когда он обнаружил, что она его бросила, он сломался. Не перенес такого удара. Он сказал Дженет, что его одиночество невыносимо. Он писал Марджери, умоляя ее вернуться, просил Дженет за него походатайствовать. Он был готов обещать все что угодно, он унижался. Марджери ничто не трогало.

– Вы думаете, она когда-нибудь вернется к нему? – спросил я Дженет.

– Она говорит, что нет.

Тут мне пришлось уйти. Время подходило к половине второго, а свидание у меня было в другом конце Лондона.

Дня через два или три мне позвонила Марджери и спросила, не может ли со мной увидеться. Она предложила приехать ко мне. Я пригласил ее к чаю и старался быть с ней очень мягким. Ее дела меня не касались, но в глубине души я считал ее очень глупой, и, возможно, от меня веяло холодом. Она никогда не была красивой и с ходом лет мало изменилась. Она сохранила свои чудесные темные глаза, а лицо у нее оставалось на удивление гладким – ни намека на морщины. Одета она была очень просто, а если и воспользовалась косметикой, то так умело, что я ничего не заметил. Она сохраняла прежнее обаяние полной естественности и доброжелательности.

– Я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали, если это вас не очень затруднит, – начала она без обиняков.

– Что именно?

– Чарли сегодня переезжает от Маршей назад в квартиру. Боюсь, первые дни там будут для него довольно трудными. Вы были бы крайне добры, если бы пригласили его, например, пообедать с вами.

– Посмотрю в ежедневнике, когда это можно будет устроить.

– Мне сказали, он много пьет. Такая жалость! Если бы вы могли поговорить с ним...

– Насколько я понял, у него последнее время были какие-то семейные неприятности, – сказал я, быть может, слишком ядовито.

Марджери вздрогнула, словно я ее ударил. Она покраснела и жалобно на меня посмотрела.

– Разумеется, с ним вы знакомы гораздо дольше, чем со мной. Естественно, вы приняли его сторону.

– Моя дорогая, правду сказать, все эти годы я поддерживал с ним знакомство главным образом из-за вас. Он мне никогда особенно не нравился, но вас я всегда считал удивительно милой женщиной.

Она улыбнулась мне очень благодарной улыбкой. Она знала: я сказал то, что думал.

– Вы считаете, я была ему хорошей женой?

– Идеальной.

– Он часто настраивал людей против себя. Очень многие его недолюбливали, но мне никогда не бывало с ним трудно.

– Он был безумно к вам привязан.

– Знаю. Нам вместе было чудесно. Шестнадцать лет мы были безоблачно счастливы. – Она помолчала и опустила глаза. – Мне пришлось его оставить. Терпеть дольше было невыносимо. Непрерывные ссоры, так ужасно!

– Я никогда не мог понять, почему два человека должны жить вместе, если они этого не

хотят.

– Видите ли, для нас это было особенно ужасно. Мы ведь всегда жили в тесной близости, и нам некуда было деться друг от друга. Под конец я просто видеть его не могла.

– Полагаю, положение было нелегким для вас обоих.

– Я ведь не виновата, что полюбила. Видите ли, это была совсем другая любовь, чем моя любовь к Чарли. В ней всегда было что-то материнское, опекающее. Я ведь гораздо благоразумнее него. Он неуправляем, но я всегда умела найти к нему подход. Джерри совсем другой. – В ее голосе появилась нежность, а лицо осветилось изнутри. – Он вернул мне юность. Для него я была молоденькой девушкой, я могла полагаться на его силу, чувствовать себя с ним в безопасности.

– Мне он казался очень милым мальчиком, – медленно произнес я. – Думаю, он многого добьется. Когда я с ним познакомился, он выглядел слишком молодым для своих обязанностей. Ему же сейчас только двадцать девять, не так ли?

Она мягко улыбнулась моему намеку.

– Я не скрывала от него свой возраст. Он говорит, что это не имеет значения.

Я знал, что это правда. Не в ее натуре было скрывать свой возраст. Она испытывала какую-то яростную радость, говоря ему о себе всю правду.

– Сколько вам лет?

– Сорок четыре года.

– Что вы намерены теперь делать?

– Я написала Джерри, что ушла от Чарли. Как только он ответит, я поеду к нему.

Я был ошарашен.

– Знаете, он живет в очень маленькой колонии, и ваше положение там будет не из легких.

– Он взял с меня обещание, что я приеду к нему, если моя жизнь после его отъезда станет невыносимой.

– Вы уверены, что так уж благоразумно полагаться на то, что говорит влюбленный молодой человек?

И вновь ее лицо озарил все тот же восторг.

– Да. Если этот молодой человек – Джерри.

У меня сжалось сердце. Я помолчал. А потом рассказал ей историю дороги, которую построил Джерри Мортон. Я придал своему рассказу драматичность, и, по-моему, он прозвучал достаточно многозначительно.

– Зачем вы мне это рассказали? – спросила она, когда я умолк.

– Мне казалось, это интересная история.

Она покачала головой и улыбнулась.

– Нет, вы хотели доказать мне, что он молод и полон энтузиазма и так увлечен своей работой, что у него не хватает времени ни на что другое. Я не буду мешать его работе. Вы не знаете его, как знаю я. Он невероятный романтик. Он смотрит на себя, как на первопроходца. Я немножко заразилась его увлечением идеей созидания новой страны. В ней есть что-то великолепное, правда? По сравнению с этим жизнь здесь кажется очень суетной и пошлой. Но, разумеется, ему там очень одиноко. Даже общество женщины средних лет может оказаться желанным.

– Вы намерены выйти за него замуж? – спросил я.

– Пусть он решает. Я не хочу ничего, кроме того, что хочет он.

Она говорила с такой простотой, и было что-то такое трогательное в этом отказе от себя, что я даже не сердился на нее, когда она ушла. Конечно, я считал, что она поступает очень глупо, но если сердиться на человеческие глупости, придется всю жизнь провести в состоянии постоянного гнева. Я подумал, что все уладится. Она назвала Джерри романтиком. Бесспорно. Однако романтикам в этом будничном мире их вздор сходит с рук только потому, что в глубине души они очень трезво воспринимают реальность. Вот те, кто принимает игру своей фантазии за действительность, – это блаженные идиоты. Англичане же – романтики,

поэтому другие нации и считают их лицемерами. А они вовсе не лицемеры, но со всей искренностью устремляются к Царству Божьему на земле, однако путь к нему тяжок, и у них хватает здравого смысла не упускать выгодные возможности, открывающиеся по дороге. Британскую душу, подобно армиям Веллингтона, подвигает корысть. Я предполагал, что Джерри ожидают неприятные четверть часа, когда он получит письмо Марджери. Это меня не особенно волновало, мне просто было бы любопытно узнать, как он выпутается из затруднения. Я считал, что Марджери ожидает горькое разочарование. Ну, да оно большого вреда ей не причинит, и тогда она вернется к мужу. Я не сомневался, что, пройдя через такое горнило, они будут жить в мире, покое и счастье до конца своих дней.

Вышло все по-другому. Несколько дней я никак не мог выбрать время для Чарли Бишопа, но наконец написал ему, приглашая пообедать со мной на следующей неделе, и предложил, не без дурных предчувствий, отправиться потом в театр – я знал, что, напиваясь, он начинает бузить, а пил он по-черному. Оставалось только уповать, что в театре он не позволит себе никаких выходов. Мы договорились встретиться в нашем клубе и пообедать в семь, так как спектакль, на который мы решили пойти, начинался в четверть девятого. Я приехал в клуб. Я ждал и ждал. Он не появился. Я позвонил ему, но никто не снял трубку, и я заключил, что он вот-вот придет. Терпеть не могу опаздывать к началу пьесы. Я с досадой ждал в вестибюле, чтобы мы сразу могли подняться в клубный ресторан. Для экономии времени я уже заказал обед. Стрелки часов показали половину восьмого, затем без четверти восемь. Решив, что мне больше незачем ждать, я направился в ресторан и пообедал один. Он так и не пришел. Я попросил соединить меня с Маршами, и вскоре официант сообщил, что Билл Марш на проводе.

– Послушайте, вы что-нибудь знаете о Чарли Бишопе? – сказал я. – Мы договорились пообедать и пойти в театр, но он так и не появился.

– Он умер сегодня днем.

– Что-о?!

От неожиданности я так громко вскрикнул, что за соседними столиками на меня оглянулись. Зал был полон, официанты сновали взад и вперед. Телефонный аппарат стоял возле кассы, и официант с бутылкой шампанского и двумя бокалами на подносе подошел к кассиру выбить чек. Дородный метрдотель, провожая двух мужчин к столику, задел меня.

– Откуда вы говорите? – спросил Билл.

Вероятно, он услышал стук ножей и вилок, раздававшийся вокруг. Когда я ответил, он спросил, не приеду ли я к ним сразу же, как только пообедаю. Дженет необходимо поговорить со мной.

– Я приеду сейчас же, – ответил я.

Дженет и Билл сидели в гостиной. Он читал газету, она раскладывала пасьянс. Когда горничная проводила меня в комнату, Дженет быстро поднялась мне навстречу. Она двигалась бесшумной пружинистой походкой, вся чуть подобравшись, точно пантера, выслеживающая добычу. Я сразу увидел, что она чувствует себя в своей стихии. Она подала мне руку, полуотвернув лицо, чтобы скрыть полные слез глаза. Голос у нее был тихим и трагическим.

– Я привезла Марджери к нам и уложила ее. Доктор дал ей успокоительное. Она совершенно разбита. Ужасно, правда? – она испустила нечто среднее между вздохом и рыданием. – Не понимаю, почему со мной всегда такое случается!

Бишопы никогда не держали прислуги, но каждое утро приходила уборщица привести квартиру в порядок и вымыть посуду после завтрака. У нее был свой ключ. В этот день она пришла, как обычно, и прибрала в гостиной. С тех пор как жена оставила Чарли, он не соблюдал никакого режима, и уборщица не удивилась, что он еще спит. Но время шло, а она знала, что ему надо на службу. Она подошла к двери спальни и постучала. Ответа не было. Ей почудилось, что он стонет, и она тихонько приоткрыла дверь. Он лежал на спине, хрипло дыша, и не проснулся. Она его окликнула. Что-то в нем ее напугало. Она позвонила в дверь квартиры на той же площадке. Там жил журналист. Он еще не встал и был в пижаме, когда

открыл дверь.

«Простите, сэр, – сказала она, – но вы не зайдете взглянуть на джентльмена? По-моему, ему плохо.»

Журналист прошел через площадку и заглянул в спальню Чарли. Возле кровати валялся пустой флакон из-под веронала. «Лучше сбегайте за полицейским», – сказал журналист. Пришел полицейский и через полицейский участок вызвал карету скорой помощи. Чарли увезли в больницу «Чаринг-Кросс». Он так и не пришел в сознание. Марджери была с ним в больнице до самого конца.

– Разумеется, будет дознание, – сказала Дженет, – но что произошло – и так ясно. Последние три-четыре недели он спал очень скверно и, видимо, принимал веронал. Ну, и случайно увеличил дозу.

– А что думает Марджери? – спросил я.

– Она слишком потрясена, чтобы думать, но я ей сказала, что он не покончил с собой, я совершенно в этом убеждена. То есть он не был таким человеком. Я права, Билл?

– Да, дорогая, – ответил он.

– Он оставил записку?

– Нет, ничего. Как ни странно, Марджери получила утром письмо от него. Ну, не письмо – одну строчку: «Мне так одиноко без тебя, дорогая». И все. Но, разумеется, это ничего не означает, и она обещала на дознании не упоминать о письме. Я хочу сказать: какой смысл подталкивать людей к глупым предположениям? Все знают, как легко ошибиться с вероналом. Я бы не стала его принимать ни за что на свете. Ясно как день, что это несчастный случай. Я права, Билл?

– Да, дорогая, – ответил он.

Дженет, как я понял, категорически решила верить, что Чарли Бишоп не совершал самоубийства, но насколько в глубине души она верила в то, во что хотела верить, судить не берусь: я не знаток женской психологии. И, разумеется, она ведь могла и не ошибаться. Не слишком логично предполагать, что пожилой ученый покончил с собой, потому что его пожилая жена ушла от него, и вполне правдоподобно, что измученный бессонницей и, по всей вероятности, далеко не трезвый, он принял слишком большую дозу снотворного, не отдавая себе в этом отчета. Как бы то ни было, следовательно принял именно эту версию. Насколько он понял, последнее время Чарльз Бишоп часто бывал нетрезв, что понудило его жену оставить его, и, совершенно очевидно, что у него и в мыслях не было наложить на себя руки. Следовательно выразил соболезнования вдове и особенно подчеркнул опасные свойства снотворных.

Я не терплю похорон, но Дженет умолила меня присутствовать. Несколько коллег Чарли выразили желание проводить его в последний путь, но по просьбе Марджери их отговорили, так что там были только Дженет и Билл, Марджери и я. Мы должны были следовать за катафалком от морга, и они предложили заехать за мной. Я высматривал их автомобиль и, увидев его, сбежал вниз, но Билл перехватил меня в дверях.

– Минутку, – сказал он. – Дженет хочет, чтобы после вы поехали к нам выпить чаю. Она говорит, что Марджери следует отвлечься, и после чая мы сыграем несколько робберов в бридж. Так вы поедете?

– В таком виде? – спросил я.

На мне были фрак и черный галстук.

– Ничего. Марджери необходимо развлечь.

– Хорошо.

Однако играть в бридж мы так и не сели. Дженет, блондинка, выглядела в глубоком трауре очень элегантно и играла роль сочувствующей подруги с изумительным искусством. Она немного поплакала, чуть-чуть прикладывая платочек к глазам, чтобы не смазать тушь на ресницах, а когда Марджери отчаянно зарыдала, нежно взяла ее под руку. На нее всегда можно было опереться в беде. Мы приехали к Маршам. Марджери ждала телеграмма. Она взяла ее и поднялась в спальню. Я предположил, что кто-то из знакомых Чарли выразил

соболезнования, только сейчас узнав о его смерти. Билл пошел переодеться, а мы с Дженет направились в гостиную и раздвинули карточный столик. Дженет сняла шляпу и положила ее на рояль.

– Какой смысл лицемерить, – сказала она. – Разумеется, Марджери была страшно потрясена, но теперь ей следует взять себя в руки. Роббер-другой поможет ей вернуться в нормальное состояние. Я, понятно, крайне сожалею о бедном Чарли, но ведь, мне кажется, он так никогда и не утешился бы из-за утраты Марджери. К тому же нельзя отрицать, что для нее это – выход из положения. Она телеграфировала Джерри сегодня утром.

– О чем?

– Сообщила о бедном Чарли.

Тут вошла горничная.

– Вы не поднимитесь к миссис Бишоп, мэм? Ей нужно поговорить с вами.

– Да, конечно.

Дженет тут же ушла, и я остался один. Вскоре ко мне присоединился Билл, и мы выпили. Через некоторое время вернулась Дженет и протянула мне телеграмму такого содержания:

«Ради Бога, подождите письма. Джерри».

– Что, по-вашему, она означает? – спросила меня

Дженет.

– То, что в ней сказано.

– Идиот! Конечно, я заверила Марджери, что это ничего не значит, но она встревожена. Вероятно, эта телеграмма отправлена раньше, чем он получил ее телеграмму о смерти Чарли. Не думаю, что она в настроении для бриджа. То есть как-то не совсем прилично играть в карты в день похорон мужа.

– Вот именно, – сказал я.

– Конечно, он может протелеграфировать, получив ее телеграмму. Он, безусловно, так и сделает, правда? Теперь нам остается только сидеть сложа руки и ждать его письма.

Я не видел смысла продолжать этот разговор и попрощался. Дня через два Дженет позвонила мне сообщить, что Марджери получила от Мортон телеграмму с соболезнованиями. В ней говорилось (она мне прочла):

«Крайне огорчен печальным известием. Глубоко сочувствую вашему великому горю. С любовью. Джерри».

– Что вы об этом думаете? – спросила она.

– Думаю, что телеграмма очень корректная.

– Ну, конечно, не мог же он телеграфировать, что в восторге.

– Естественно, если в нем есть хоть капля деликатности.

– И он же добавил «с любовью».

Я представил себе, как эти две женщины взвешивали обе телеграммы со всех точек зрения и изучали каждое слово, выискивая все оттенки его значения. Я словно услышал, как они без конца их обсуждают.

– Не знаю, что будет с Марджери, если он ее подведет, – продолжала Дженет. – Разумеется, остается узнать, джентльмен ли он.

– Чушь! – сказал я и положил трубку.

Затем я два раза пообедал у Маршей. Марджери выглядела измученной. Я догадывался, что она ждет обещанного письма с гнетущей тревогой. Горе и страх превратили ее в тень. Теперь она выглядела очень хрупкой и обрела одухотворенность, какой я прежде в ней никогда не замечал. Она была очень кроткой, очень благодарной за любой знак внимания, а ее улыбка, неуверенная и робкая, была бесконечно трогательной. Ее беспомощность таила в себе обаяние. Но Мортон находился за несколько тысяч миль от Лондона. А потом, как-то утром, Дженет позвонила мне.

– Письмо пришло. Марджери сказала, что я могу показать его вам. Вы приедете?

Напряжение в ее голосе объяснило мне все. Когда я вошел, Дженет вручила мне

письмо. Я прочел его. Крайне тщательное письмо – мне стало ясно, что Мортон вновь и вновь его переписывал. Письмо было очень добрым, и он, несомненно, прилагал все усилия, чтобы не ранить Марджери, однако оно выдавало его ужас. Было ясно, что он трясется от страха. Видимо, он решил, что наилучший выход в таком положении – чуть шуточный тон, и отлично высмеял белое население колонии. Как они воспримут внезапное появление Марджери? Ему чертовски скоро придет распоряжение паковать чемоданы. Люди думают, будто на Востоке живет легко и свободно. Куда там! Нравы тут провинциальнее, чем в любом лондонском пригороде. Он так любит Марджери, что ему невыносимо думать, как здешнее ужасное бабье будет ее третировать. А кроме того, его отправили на пост в десяти днях пути от ближайшего селения. Жить в его бунгало она, естественно, не сможет, гостиницы же тут нет, а обязанности заставляют его проводить в джунглях по несколько дней кряду. И, в любом случае, это не место для женщины. Он упомянул, как много она для него значит, но она не должна тревожиться из-за него. Ему кажется, что было бы лучше, если б она вернулась к мужу. Он никогда себе не простит, если будет знать, что встал между ней и Чарли. Да, я твердо убежден, что написать такое письмо было чрезвычайно трудно.

– Разумеется, он тогда не знал, что Чарли умер. Я сказала Марджери, что это все меняет.

– Она с вами согласилась?

– По-моему, она сейчас не способна думать разумно. Как вы оцениваете письмо?

– Яснее ясного, что она ему не нужна.

– Два месяца назад нужнее ее для него никого в мире не было.

– Поразительно, как на людей влияет перемена климата и обстановки. Ему, конечно, уже кажется, что он покинул Лондон больше года назад. Он вернулся к своим прежним приятелям, к прежним интересам. Дорогая моя, Марджери лучше себя не обманывать: он вернулся к тамошней жизни, в которой для нее места нет.

– Я посоветовала ей не обращать внимания на письмо и сразу же поехать к нему.

– Надеюсь, она достаточно разумна и не позволит себе попасть в положение, которое неминуемо обрекает ее на сокрушительный отказ.

– Но в таком случае, что с ней будет? Как жестоко! Она ведь лучшая женщина в мире. В ней есть истинная порядочность.

– А ведь если подумать, так ее порядочность стала причиной всего, что произошло. Ну почему она просто не вступила с Мртоном в любовную связь? Чарли ничего бы не знал и жил себе да жил. Марджери с Мртоном могли отлично провести время, а когда ему пришла пора уезжать, они бы расстались с радостным ощущением, что приятный эпизод в их жизни завершился очень изящно. Сохранив светлые воспоминания, она бы вернулась к Чарли удовлетворенной, отдохнувшей, и вновь стала бы ему идеальной женой, какой была всегда.

Дженет поджала губы и одарила меня презрительным взглядом.

– Но порядочность – это, знаете ли, порядочность.

– К черту такую порядочность. Она ничего не стоит, если оборачивается хаосом и бедой. Называйте это порядочностью, если вам так хочется. Я называю это трусостью.

– Мысль о том, чтобы изменить Чарли, пока она жила с ним, была ей отвратительна. Есть, представьте себе, такие женщины.

– Боже мой! Она могла бы хранить ему верность духовно, изменяя плотью. Женщины удивительно талантливы в такого рода подтасовках.

– Какой вы гнусный циник.

– Если смотреть правде в глаза и оценивать житейские дела с точки зрения здравого смысла – цинично, то я, безусловно, циник, гнусный, если вам угодно. Но ведь никуда не денешься! Марджери – женщина почти пожилая. Чарли было пятьдесят пять, и в браке они состояли шестнадцать лет. Вполне естественно, что она потеряла голову из-за молодого человека, так с ней носившегося. Но не называйте это любовью. Чистейшая физиология, и ничего больше. Она была душой, раз принимала его слова всерьез. Говорил же не он, а его изголодавшаяся сексуальность. На протяжении четырех лет его томил сексуальный голод – во всяком случае, по женщинам с белой кожей. И чудовищно, что она готова погубить его

жизнь, требуя исполнения безумных обещаний, которые он надавал ей в те дни. Марджери он увлекся случайно. Он хотел ее – и тем сильнее, что не мог ее получить. Вполне возможно, он считал это любовью. Поверьте, ничего, кроме похоти, тут не было. Если бы они переспали, Чарли был бы сейчас жив. Причина всех бед – ее чертова порядочность.

– Как вы глупы! Неужели вы не понимаете, что от нее ничего не зависело? Просто она не принадлежит к безнравственным женщинам.

– Предпочитаю безнравственную женщину эгоистке и развратную – дуре.

– Ах, замолчите! Я пригласила вас не для того, чтобы вы вели себя так омерзительно!

– А для чего вы меня пригласили?

– Джерри ваш друг. Вы познакомили его с Марджери. Если она в безысходном положении, то по его вине. Но ведь причина всего – вы! И ваша обязанность написать ему и потребовать, чтобы он выполнил свой долг по отношению к ней.

– Да будь я проклят, если напишу что-нибудь подобное!

– Раз так, то вам лучше уйти.

Я направился к двери.

– Ну, во всяком случае, большое счастье, что жизнь Чарли была застрахована, – сказала она.

Тут я обернулся к ней.

– И у вас еще хватает духа называть меня циником!

Не стану повторять неприличное слово, которым я назвал ее, захлопывая дверь. Но все равно Дженет очень милая женщина. Я часто думаю, что брак с ней был бы постоянным источником развлечений..

Ровно дюжина (пер. М. Лорие)

Я люблю Элсом. Этот приморский городок на юге Англии, неподалеку от Брайтона, тоже хранит обаяние эпохи последнего Георга, но там, в отличие от Брайтона, нет ни многолюдья, ни показного блеска. Лет десять назад, когда мне случалось туда наезжать, там еще можно было увидеть какой-нибудь старый дом, основательный и не без претензий (подобный разорившейся дворянке, которая скромно кичится своей родословной, но это вас не раздражает, а только кажется забавным), построенный в царствование «первого джентльмена Европы» и, вполне возможно, служивший пристанищем какому-нибудь опальному царедворцу. Главная улица не лишена была томной жеманности, автомобиль единственного в городке врача выглядел на ней как-то не у места. Хозяйки там хозяйничали не спеша. Они судачили с мясником, пока он, под их внимательным взглядом, отрубал кусок вырезки от большой бараньей туши, и справлились у бакалейщика о самочувствии его жены, пока он укладывал им в веревочную сумку полфунта чая и пакетик соли. Я не знаю, был ли когда-нибудь Элсом модным курортом: в мое время он таковым, безусловно, не был, но слыл уважаемым и дешевым. Там жили немолодые дамы, как девицы, так и вдовы. Жили отставные военные и чиновники, отслужившие в Индии, и все они не без трепета ожидали августа, когда начинался наплыв отпускников, однако же не прочь были сдать им дом, а на вырученные деньги пожить несколько недель светской жизнью в каком-нибудь пансионе в Швейцарии. Я ни разу не видел Элсом в ту горячую пору, когда все меблированные комнаты были сданы и по набережной разгуливали мужчины в ярких куртках, когда на пляже давали представления бродячие актеры, а в гостинице «Дельфин» до одиннадцати часов вечера слышался стук бильярдных шаров. Я бывал там только зимой. Тогда на набережной во всех оштукатуренных, столетней давности домах с окнами фонарем белели записочки о сдаче комнат, а постояльцев «Дельфина» обслуживали один-единственный официант и коридорный. В десять часов в курительную являлся швейцар и смотрел на вас так выразительно, что вам ничего не оставалось, как только встать и отправиться к себе в номер спать. Элсом в то время располагал к покою, а «Дельфин» был очень удобной гостиницей.

Приятно было думать, что к ее крыльцу не раз подкатывал принц-регент с миссис Фицгерберт – выпить чаю в ресторане. В холле висело под стеклом письмо от мистера Теккерея с просьбой оставить за ним гостиную и две спальни с видом на море и в такой-то день выслать на станцию пролетку встретить его.

Однажды в ноябре, через два-три года после войны, я переболел сильной испанкой и поехал в Элсом поправлять здоровье. Я прибыл туда во второй половине дня и, разобрав чемоданы, пошел пройтись по набережной. Небо было в тучах, спокойное море – серое, холодное. Над взморьем носилось несколько чаек. Парусные лодки с убранными на зиму мачтами были вытащены высоко на каменистый берег, купальные кабинки, облупленные, серые, выстроились в длинный ряд. Никто не сидел на скамейках, которые муниципалитет позаботился расставить на набережной, но несколько приезжих бодро прохаживались взад-вперед для моциона. Мне встретился старый полковник с красным носом и в бриджах, топавший в сопровождении терьера, две пожилые женщины в коротких юбках и прочных ботинках и некрасивая девушка в берете. Никогда еще я не видел набережную такой пустынной. Меблированные комнаты выглядели как неопрятные старые девы, все поджидающие возлюбленных, которые никогда не вернутся, и даже у «Дельфина» вид был унылый и заброшенный. Сердце у меня сжалось. Жизнь сразу представилась беспросветно тоскливой. Я вернулся в гостиницу, задернул у себя в номере занавески, помешал угли в камине и попробовал развеять свою меланхолию чтением, однако обрадовался, когда пришло время одеваться к обеду. Когда я спустился в ресторан, постояльцы уже сидели за столом. Я бегло окинул их взглядом. Была там дама средних лет, одна, и два пожилых господина, очевидно игроки в гольф, краснолицые и плешивые, поглощавшие пищу в угрюмом молчании. Кроме них, в комнате находилась только еще группа из трех человек, сидевшая отдельно в нише окна, та сразу привлекла мое внимание. Составляли эту группу старый господин и две дамы: одна старая – вероятно, его жена, другая моложе – возможно, дочь. В первую очередь меня заинтересовала старая леди. На ней было необъятных размеров черное шелковое платье и черный кружевной чепец; на запястьях массивные золотые браслеты, на шее тяжелая цепочка с большим золотым медальоном, под горлом большая золотая брошь. Я и не думал, что кто-то еще носит такого рода драгоценности. Нередко, проходя мимо антикварной лавки или ломбарда, я задерживался перед витриной поглядеть на эти безнадежно устаревшие украшения, такие громоздкие, дорогие и безобразные, и с улыбкой, к которой примешивалась грусть, думал о давно умерших женщинах, что когда-то их носили. Они наводили на мысль о тех временах, когда кринолин уже уступал место турнюрам и оборкам, а плоскую шляпку вытеснял капор с высоченным козырьком и лентами. В те дни англичане любили все добротное и крепкое. В воскресенье утром они ездили в церковь, а после церкви прогуливались в Гайд-парке. Задавали обеды из двенадцати блюд, и хозяин дома сам нарезал ростбиф и цыплят, а после обеда дамы, умевшие играть на фортепьяно, услаждали собравшихся «Песнями без слов» Мендельсона, а джентльмен, обладатель прекрасного баритона, исполнял старинную английскую балладу.

Вторая женщина, та, что помоложе, сидела ко мне спиной, и сперва я только отметил, что она худенькая, как девочка. У нее были роскошные каштановые волосы, уложенные в сложную прическу. Платье на ней было серое. Все трое разговаривали между собой вполголоса, но вот она повернула голову, и я увидел ее профиль. Он был поразительно красив. Носик прямой, изящный, безупречная линия щеки; а прическа-то как у королевы Александры. Обед кончился, и все трое встали с мест. Старшая леди выплыла из комнаты, не глядя ни вправо, ни влево, младшая за ней. И тут я, к ужасу своему, увидел, что она старая. Платье ее было очень простое, юбка подлиннее, чем тогда носили, и в покрое что-то старомодное. Может быть, талия чуть более подчеркнута, чем принято, но общий его рисунок – девический. Она была высокого роста, как героини Теннисона, легкая, длинноногая, грациозная. Нос я уже успел отметить – это был нос греческой богини; рот был прекрасен, глаза большие, синие. Кожа, естественна, чуть слишком туго обтягивала кости лица, и на лбу и у глаз обозначились морщинки, но в молодости она, наверно, была

очаровательна. Она напоминала тех древнеримских дам с идеально правильными чертами лица, которых писал Альма Тадема и в которых вопреки их античным одеждам сразу можно узнать англичанок. Холодного совершенства этого типа никто не видел уже лет двадцать пять. Теперь он и вовсе умер, как эпитафия. Я ощутил себя археологом, обнаружившим статую, давно погребенную под землей, и меня взволновала эта встреча с реликвией минувшей эры. Ибо никакой день не умирает так прочно, как позавчерашний.

Старый джентльмен встал, когда поднялись его дамы, а потом снова сел. Официант подал ему стакан крепкого портвейна. Он понюхал его, отпил, просмаковал. Я тем временем разглядывал его. Он был невысокого роста, на голову ниже своей дородной супруги, не толстый, но упитанный, с густыми вьющимися седыми волосами. В изрезанном морщинами лице таилась усмешка. Губы плотно сжаты, подбородок квадратный. Одет он был, по нашим понятиям, немного экстравагантно – черный бархатный жакет, сорочка с низким воротничком и жабо, пышный черный галстук и широкие вечерние брюки. Что-то в этом чудилось маскарадное. Он не спеша допил портвейн, встал и с достоинством удалился.

Проходя через холл, я заглянул в книгу приезжающих, мне любопытно было узнать, кто эти странные люди. Угловатым женским почерком, какому молодых девиц обучали в фешенебельных школах сорок лет назад, там было записано: «*М-р и м-с Сент-Клер, мисс Порчестер*», и адрес: «*Ленстер-сквер, 58, Бейсуотер, Лондон*». Я спросил у администратора, кто есть мистер Сент-Клер, и узнал, что он, кажется, что-то делает в Сити. Я зашел в бильярдную, погонял шары, а по дороге к себе наверх заглянул в гостиную. Те два краснолицых господина читали вечерние газеты, одинокая дама средних лет дремала над романом. Интересовавшая меня тройца расположилась в углу комнаты. Миссис Сент-Клер вязала, мисс Порчестер прилежно вышивала, а мистер Сент-Клер читал вслух негромко, но внятно. Проходя мимо них, я уловил, что читает он «Холодный дом».

На следующий день я много читал и писал, но среди дня вышел погулять и по дороге домой присел на одну из тех удобных скамеек на набережной. Было не так холодно, как накануне, и ветер улегся. От нечего делать я стал следить глазами за человеком, издали приближавшимся ко мне. Когда он подошел поближе, я увидел, что это невзрачного вида мужчина в жиденьком черном пальто и поношенном котелке. Руки он засунул в карманы – как видно, озяб. Он взглянул на меня мимоходом, прошел еще несколько шагов, остановился, подумал и повернул обратно. Снова поравнявшись со скамейкой, на которой я сидел, вынул руку из кармана и прикоснулся к шляпе. Я заметил, что перчатки на нем черные, старые, и предположил, что он вдовец в стесненных обстоятельствах. Или, может быть, служащий похоронного бюро, поправляющийся, как и я, после испанки.

– Прошу прощения, сэр, – сказал он, – не найдется ли у вас спички?

– Пожалуйста.

Он сел рядом со мной и, пока я доставал из кармана спички, тоже полез в карман – за папиросами. Он вытащил обертку от «Голдфлейкс», и лицо его вытянулось.

– Надо же, какая досада! Ни одной не осталось.

– Закурите мою, – предложил я, улыбаясь.

Я протянул ему портсигар, и он взял папиросу.

– Золотой? – спросил он и постучал пальцем по портсигару, который я успел захлопнуть. – Золотой? Вот чего я никогда не умел хранить. У меня их три было. Все украли.

Он меланхолично уставился на свои башмаки, давно взывавшие о ремонте. Это был неказистый человечек с длинным тонким носом и голубыми глазами. Лицо у него было желтое, в морщинах. Определить его возраст я бы не взялся – то ли тридцать пять лет, то ли шестьдесят. В нем не было ничего примечательного, кроме его заурядности. Но, несмотря на явную бедность, выглядел он опрятно и чисто. Вполне respectable фигура, и держится за свою respectable. Нет, не служит он в похоронном бюро. Скорее, работает клерком у какого-нибудь юриста, недавно похоронил жену, и добросердечный шеф отправил его в Элсом отдохнуть.

– Вы сюда надолго, сэр? – осведомился он.

– Дней на десять – пятнадцать.

– В Элсоне впервые, сэр?

– Нет, я здесь уже бывал.

– Я-то хорошо его знаю, сэр. Могу смело сказать, в Англии не много найдется приморских курортов, где бы я не побывал. Элсом – один из лучших. Здесь встречаешь людей очень порядочного круга. И никакого шума, никакой вульгарности, вы меня понимаете. Для меня, сэр, Элсом связан с очень приятными воспоминаниями. Я знал Элсом в давно минувшие дни. Я венчался в церкви святого Мартина, сэр.

– В самом деле? – промямлил я.

– Это был очень счастливый брак, сэр.

– Приятно слышать.

– В тот раз хватило на девять месяцев, – добавил он задумчиво.

Замечание, согласитесь, не совсем обычное. Не могу сказать, что я с восторгом предвкушал явно грозивший мне рассказ о его матримониальном опыте, но сейчас я ждал продолжения если не с жадным нетерпением, то с любопытством. Продолжения не последовало. Он только вздохнул. Наконец я сам нарушил молчание.

– Приезжих здесь, видимо, совсем немного, – заметил я.

– Вот и хорошо. Толпы – это не по мне. Как я уже сказал, я много лет провел на разных курортах, но только не во время сезона. То ли дело зимой.

– Немножко, пожалуй, уныло.

Он повернулся ко мне и рукой в черной перчатке дотронулся до моего рукава.

– Да, уныло. Потому-то каждый луч солнца так радует.

Слова эти показались мне бессмысленными, и я промолчал. Он убрал руку и встал со скамейки.

– Что ж, не буду вас задерживать, сэр. Рад был с вами познакомиться.

Он вежливо приподнял свой поношенный котелок и пошел прочь. Стало холодно, и я решил вернуться в «Дельфин». Как раз когда я добрался до его широких ступеней, к ним подъехало ландо, влекомое парой олов, а из ландо вышел мистер Сент-Клер. Его головной убор являл собой неудачный гибрид из котелка и цилиндра. Он подал руку сперва жене, потом племяннице. Швейцар внес следом за ними подушки и пледы. Я слышал, как мистер Сент-Клер, расплачиваясь с возницей, велел ему подать завтра в обычное время, и заключил из этого, что Сент-Клеры ежедневно совершают прогулку в ландо. Меня бы не удивило, узнай я, что никто из них отроду не ездил в автомобиле.

Администратор рассказала мне, что они держатся особняком, ни с кем в гостинице не знакомятся. Я дал волю воображению. Три раза в день я наблюдал их за едой. По утрам наблюдал мистера и миссис Сент-Клер на веранде гостиницы. Он читал «Таймс», она вязала. Миссис Сент-Клер, надо полагать, в жизни не прочла ни одной газеты, ведь они признавали только «Таймс», а эту газету ее муж, разумеется, каждый день увозил с собой в Сити. Часов в двенадцать к ним присоединялась мисс Порчестер.

– Как погуляла, Элинора? – спрашивала миссис Сент-Клер.

– Очень хорошо, тетя Гертруда, – отвечала мисс Порчестер.

– Когда закончишь ряд, дорогая, – говорил мистер Сент-Клер, бросив взгляд на вязанье в руках жены, – можно еще пройтись перед вторым завтраком.

– Очень хорошо, – отвечала миссис Сент-Клер. Она складывала работу и отдавала мисс Порчестер. – Ты ведь пойдешь наверх, Элинора, так захвати мое вязанье.

– С удовольствием, тетя Гертруда.

– Ты, наверное, устала после прогулки?

– Да, я немного отдохну до завтрака.

Мисс Порчестер скрывалась в доме, а мистер и миссис Сент-Клер медленно, плечом к плечу, пускались в путь по набережной, с тем чтобы, дойдя до определенного места, так же медленно вернуться назад.

Встречаясь с кем-нибудь из них на лестнице, я раскланивался, и мне отвечали учтивым,

без улыбки поклоном. По утрам я даже отваживался поздороваться, но дальше этого дело не шло. Я уж думал, что мне так и не представится случая поговорить с кем-нибудь из них. Но потом мне показалось, что мистер Сент-Клер на меня поглядывает, и, решив, что он узнал мою фамилию, я вообразил – возможно, из чистого тщеславия, – что читаю в этих взглядах любопытство. А еще дня через два, когда я сидел у себя в номере, ко мне явился коридорный с поручением.

– Мистер Сент-Клер велел кланяться, и не одолжите ли вы ему справочник Уитакера?

Я удивился.

– С чего он взял, что у меня есть справочник Уитакера?

– А ему администратор сказала, что вы, мол, пишете.

Какая тут связь – я не понял.

– Передайте мистеру Сент-Клеру, что я бы с удовольствием, но, к сожалению, справочника Уитакера у меня здесь нет.

Вот случай и представился! Теперь мне и вовсе не терпелось поближе познакомиться с этими фантастическими существами. Мне доводилось набрести в сердце Азии на неведомое племя, обитающее в какой-нибудь одной деревушке среди других, чуждых ему племен. Никто не знает, как эти люди туда попали и почему осели именно здесь. Они живут своей жизнью, говорят на своем языке и не общаются с соседями. Никому не известно, кто они такие – то ли потомки какой-то группы, отставшей от своих соплеменников, когда орды их прокатились по этим местам, то ли последние, вымирающие представители какого-то могущественного народа, некогда владевшего этим краем. Они окружены тайной. У них нет истории и нет будущего. Нечто подобное я усмотрел и в членах этой диковинной семейки. Они принадлежали к эпохе, канувшей в небытие. Напоминали персонажей из неторопливых старомодных романов, какие читали наши отцы. Умудрились прожить последние сорок лет так, словно мир все это время стоял на месте! Они вернули меня в мое детство, привели мне на память многих людей, уже давно лежащих в могиле. Может быть, дело тут в дистанции, но у меня сложилось впечатление, что таких своеобразных людей теперь не бывает. Когда в те времена про человека говорили: «Да, это оригинал!», честное слово, это что-то да значило.

И в тот вечер после обеда я пошел в гостиную и бесстрашно заговорил с мистером Сент-Клером.

– Мне очень жаль, что у меня нет справочника Уитакера, – сказал я. – Возможно, вам пригодится какая-нибудь другая моя книга, так сделайте одолжение.

Мистер Сент-Клер был явно поражен. Его дамы даже не подняли глаз от рукоделия. Наступила неловкая пауза.

– Право же, это неважно. Просто я понял из слов администратора, что вы писатель.

Я напряженно думал. Видимо, какая-то связь между моей профессией и справочником Уитакера все же была, но она от меня ускользала.

– В былые дни мистер Троллоп частенько обедал у нас на Ленстер-сквер, и он, помнится, говорил, что для писателя две самые нужные книги – Библия и справочник Уитакера.

– Оказывается, в этой гостинице когда-то останавливался Теккерей, – сказал я, опасаясь, как бы разговор не иссяк.

– Мистера Теккерейя я всегда недолюбливал, хотя он не раз обедал у моего тестя, покойного мистера Сарджента Сондерса. На мой вкус, он был чересчур циничен. Моя племянница до сих пор не читала «Ярмарку тщеславия».

Мисс Порчестер слегка покраснела, когда разговор коснулся ее. Подали кофе, и миссис Сент-Клер обратилась к мужу:

– Может быть, этот джентльмен доставит нам удовольствие, выпьет кофе с нами?

Хотя вопрос был задан не мне, я поспешил ответить: «Большое спасибо» – и сел.

– Мистер Троллоп всегда был моим любимым писателем, – сказал мистер Сент-Клер. – Он-то был безупречный джентльмен. Чарльзом Диккенсом я восхищаюсь, но Чарльзу Диккенсу не удалось изобразить джентльмена. Я слышал, нынешняя молодежь находит

мистера Троллопа скучноватым. Мисс Порчестер, например, предпочитает романы Уильяма Блека.¹

– Его я, к сожалению, не читал.

– А-а, вы, значит, как и я, несовременны. Моя племянница однажды уговорила меня прочесть роман некоей мисс Роды Броутон,² но больше ста страниц я не осилил.

– Я не говорила, что он мне нравится, дядя Эдвин, – попробовала оправдаться мисс Порчестер и опять покраснела. – Я сказала, что, по-моему, написано слишком смело, но что все о нем говорят.

– Уверен, тетя Гертруда предпочла бы, чтобы ты не читала книг такого рода.

– Однажды, – вмешался я, – мисс Броутон мне сказала, что, когда она была молода, ее книги находили слишком острыми, а когда состарилась – слишком пресными, и это очень обидно, потому что она сорок лет писала совершенно одинаково.

– Ах, вы были знакомы с мисс Броутон? – спросила мисс Порчестер, впервые обращаясь ко мне. – Как интересно! А Уиду вы тоже знали?

– Элинор, милая, вот сюрприз! Неужели ты хочешь сказать, что читала Уиду?

– А вот и читала, дядя Эдвин. Я читала «Под двумя флагами?!»,³ и мне очень понравилось.

– Ты меня шокируешь. На что только не отваживаются современные девушки, просто уму непостижимо.

– Вы всегда говорили, что, когда мне исполнится тридцать лет, дадите мне полную свободу, разрешите читать все, что я захочу.

– Но, дорогая моя Элинор, свобода и распущенность не одно и то же, – возразил мистер Сент-Клер вполне серьезно, хоть и с легкой улыбкой, чтобы укор не показался ей обидным.

Не знаю, удалось ли мне, пересказывая этот разговор, передать и впечатление, как от прелестной старинной мелодии, которое он на меня произвел. Я мог бы без конца слушать, как они обсуждают развратный век, чья молодость пришлась на восьмидесятые годы. Я бы много дал, чтобы увидеть их большой, вместительный дом на Ленстер-сквер. Я бы сразу узнал обитый красным плюшем гарнитур гостиной – каждый предмет на раз навсегда отведенном ему месте; и при виде горок с дрезденским фарфором воскресло бы мое детство. В столовой, где они обычно сидели по вечерам, поскольку гостиная предназначалась только для приема гостей, наверняка был постелен турецкий ковер и стоял огромный буфет красного дерева, битком набитый серебром. А по стенам висели картины, приводившие в восхищение миссис Хэмфри Уорд и ее дядю Мэтью⁴ на академической выставке 88-го года.

На следующее утро в живописном местечке на задах Элсома я встретил мисс Порчестер, возвращавшуюся со своей ежедневной пешеходной прогулки. Я был бы рад составить ей компанию, но меня удержала мысль, что прогулка вдвоем с мужчиной, пусть и моего почтенного возраста, чего доброго, отпугнет сию пятидесятилетнюю девицу. Она ответила на мой поклон и покраснела. Как ни странно, чуть подальше я столкнулся с тем забавным человечком в черных перчатках, с которым недавно перекинулся несколькими словами на набережной. Он притронулся к своему ветхому котелку.

– Прошу прощенья, сэр, – сказал он, – не найдется ли у вас спички?

– Пожалуйста, – ответил я, – но папирос у меня, к сожалению, при себе нет.

– Закурите мою, – предложил он, доставая из кармана обертку. Она была пуста. – Надо же, и у меня, как на грех, ни одной не осталось.

Он пошел дальше, и мне показалось, что он немного ускорил шаг. Он уже вызывал у

1 Уильям Блек (1841–1898) – плодовитый английский писатель ныне, забытый – прим. автора.

2 Рода Броутон (1840–1920) – английская писательница, в молодости славившаяся своим вольномыслием – прим. автора.

3 Уида (псевдоним Марии Луизы де ла Раме, 1839–1908) – автор 45 романов из великосветской жизни в Англии и в Италии. «Под двумя флагами» – ее первый роман (1882) – прим. автора.

4 Мэри Августа Уорд, урожденная Арнольд (более известная как миссис Хэмфри Уорд) – английская писательница и филантропка (1851–1920). Ее дядя Мэтью Арнольд (1822–1888) – известный поэт, критик и эссеист – прим. автора.

меня кое-какие сомнения. Не хватало, чтобы он вздумал приставать к мисс Порчестер. Я чуть не повернул за ним следом, но передумал. Человек он воспитанный и едва ли станет докучать порядочной женщине.

В тот же день я снова его увидел. Я сидел на набережной. Он приближался ко мне мелкими, семенящими шажками. Было ветрено, и ветер словно гнал его по улице, как сухой лист. На этот раз он без всяких колебаний подсел ко мне.

– Вот и еще раз встретились, сэр. Да, тесен мир. Разрешите мне, если не помешаю, немного отдохнуть. Я что-то устал.

– Скамейка общественная, у вас на нее столько же прав, как у меня.

Я не стал дожидаться, когда он попросит спичку, и тут же предложил ему папиросу.

– Вы очень любезны, сэр! Я вынужден ограничивать себя в курении, но те папиросы, которые курю, курю с удовольствием. Житейских радостей с годами остается все меньше, но по опыту скажу – те, что еще остались, особенно ценишь.

– Мысль утешительная.

– Прошу прощения, сэр, но я не ошибаюсь, вы действительно наш известный писатель?

– Я писатель. Но как вы это узнали?

– Видел ваш портрет в иллюстрированных журналах. Вы-то меня, вероятно, не узнаете?

Я посмотрел на него. Неприглядный человечек в поношенной черной одежде, длинноносый, глаза голубые.

– Простите, не узнаю.

– Немудрено, что я изменился, – вздохнул он, – Одно время мои фотографии печатали во всех газетах Соединенного королевства. Впрочем, все эти газетные фотографии никуда не годятся. Даю слово, есть такие, на которых я бы сам себя не узнал, если б не подпись.

Он помолчал. Было время отлива, и за галькой пляжа протянулась желтая полоса глинистого дна. Волнорезы торчали из нее, как остовы доисторических животных.

– Писать книги – это, должно быть, страшно интересно, сэр. Я часто думал, что у меня у самого есть к этому склонность. В разные периоды моей жизни я очень много читал. В последнее время, правда, почти не читаю. И зрение не то, что было, и вообще. А написать книгу я бы, наверно, мог, если б постарался.

– Говорят, одну книгу может написать каждый, – отозвался я.

– Не роман, знаете ли. До романов я не большой охотник. Предпочитаю исторические труды и все в таком роде. Или мемуары. Если б кто согласился издать, я бы не прочь написать мемуары.

– Это сейчас модно.

– Таким разносторонним опытом, как я, мало кто располагает. Не так давно я даже написал об этом письмо в одну воскресную газету, но они мне не ответили.

Он устремил на меня долгий, оценивающий взгляд. Неужели сейчас попросит полкроны? С его-то респектабельной внешностью.

– Вы, конечно, не знаете, кто я такой, сэр?

– Честно говоря, не знаю.

Он как будто что-то обдумал, потом разгладил на пальцах черные перчатки, задержался взглядом на дырочке и наконец не без самодовольства изрек:

– Я – знаменитый Мортимер Эллис.

– Да?

Никакого более подходящего междометия я не придумал, будучи убежден, что слышу это имя впервые. На лице его изобразилось разочарование, и это меня немного смутило.

– Мортимер Эллис, – повторил он. – Неужели это вам ничего не говорит?

– Решительно ничего. Я, понимаете, очень мало живу в Англии.

Интересно, думал я, чем он прославился? Я мысленно перебрал несколько вариантов. Спортсменом он, безусловно, никогда не был, а ведь в Англии только на их долю выпадает настоящая слава, но он мог в прошлом проповедовать «Христианскую науку» или ставить рекорды на бильярде. Самая незаметная фигура – это, конечно, бывший министр, и он вполне

мог оказаться министром торговли в каком-нибудь усопшем правительстве. Но и на политического деятеля он не был похож.

– Вот она, слава, – произнес он с горечью. – Да в Англии я много месяцев был притчей во языцех. Посмотрите на меня хорошенько. Не может быть, чтобы вы не видели моих снимков в газетах. Мортимер Эллис.

Я покачал головой.

Он выдержал паузу для пущего эффекта.

– Я – знаменитый многоженец.

Ну что прикажете ответить, когда совершенно незнакомый человек сообщает вам, что он – знаменитый многоженец? Признаюсь, порой я тешу себя мыслью, что за словом в карман не лезу, но тут я буквально онемел. А он продолжал:

– У меня было одиннадцать жен, сэр.

– Многие считают, что и с одной нелегко справиться.

– А это от отсутствия практики. Кто был женат одиннадцать раз, тот женщин наизусть знает.

– Но почему вы остановились на одиннадцати?

– Вот-вот, я так и знал, что вы это спросите. Как увидел вас, сразу подумал, лицо у него умное. Одиннадцать – нелепое число, верно? Что-то в нем есть незаконченное. Три-это может быть у любого, и семь еще туда-сюда, девять, говорят, приносит счастье, десяток тоже неплохо. Но одиннадцать! Я только об этом и сожалею. Все бы ничего, кабы только довести счет до дюжины.

Он расстегнул пальто и извлек из внутреннего кармана бумажник, толстый и сильно засаленный. Из бумажника же достал целую пачку газетных вырезок, грязных, потертых на сгибах, и штуки три развернул.

– Вы только взгляните на эти снимки, и сами скажите, похожи они на меня? Поглядеть на них, можно подумать, что это какой-то уголовник.

Вырезки были длинные, можно было не сомневаться, что среди газетных редакторов Мортимер Эллис в свое время котиrowался высоко. Одна корреспонденция была озаглавлена «Муки многократного мужа», другая – «Бессердечного мерзавца – к ответу», третья – «Презренный негодяй дождался своего Ватерлоо».

– Хорошей прессой это не назовешь, – протянул я.

Он пожал плечами.

– Вообще-то я на газеты не обращаю внимания. Слишком многих журналистов знал лично. Нет, кого я не могу простить, так это судьбу. Он обошелся со мной безобразно и себе только навредил – в том же году умер.

Я пробежал глазами корреспонденции.

– Он, я вижу, дал вам пять лет.

– Позор, иначе не назовешь, а вы посмотрите, что тут сказано. – Он ткнул в нужную строку указательным пальцем. – «Три из его жертв подали ходатайства о помиловании». Вот они, значит, как ко мне относились. И после этого он дает мне пять лет. Да еще обзывал по-всякому – бессердечный негодяй – это я-то, добрейшей души человек, – язва на теле общества, опасен для окружающих. Сказал, что, будь его воля, приговорил бы меня к наказанию плетью. Не то самое страшное, что он дал мне пять лет – хотя я продолжаю считать, что это чересчур, – но какое он, скажите, имел право так надо мной измываться? Никакого не имел права, и я ему не прощу никогда, проживи я хоть до ста лет.

Щеки многоженца вспыхнули, слезящиеся глаза сверкнули. Для него это была наиболее болезненная тема.

– Можно прочесть? – спросил я.

– Для чего же я вам их и дал. Непременно прочтите, сэр. И если после этого вы не согласитесь, что я – жертва чудовищной несправедливости, значит, вы не тот человек, за которого я вас принимал.

Просматривая одну вырезку за другой, я понял, почему Мортимер Эллис так подробно

осведомлен о приморских курортах Англии. Он ездил туда на охоту. Метод его был прост: когда кончался сезон, он приезжал в один из этих городков и снимал комнату, благо пансионеры пустовали. Ему, видимо, не требовалось много времени, чтобы завести знакомство с какой-нибудь девицей или вдовой, в возрасте, как я не мог не заметить, от тридцати пяти до пятидесяти лет. На суде они все показали, как свидетельницы, что познакомились с ним на набережной. Как правило, он уже через две недели предлагал им руку и сердце, а вскоре после этого они сочетались браком. Тем или иным способом он у них выманивал их сбережения, а через несколько месяцев, сославшись на неотложные дела в Лондоне, уезжал и больше не возвращался. Лишь с одной он затем встретился вновь еще до того, как все они, явившись в суд по вызову, увидели его на скамье подсудимых. Это были отнюдь не легкомысленные вертушки. У одной отец был врач, у другой священник; была среди них хозяйка меблированных комнат, вдова коммивояжера и удалившаяся от дел портниха. У каждой был небольшой капитал, от пятисот до тысячи фунтов, но независимо от степени их богатства он обчищал их до последнего пенни. Однако все, как одна, утверждали, что он был им хорошим мужем. Мало того, что три из них действительно ходатайствовали о его помиловании, одна даже заявила, что, если он захочет, она готова принять его обратно. Заметив, что я как раз читаю про это, он сказал:

– И можно не сомневаться, она стала бы на меня работать. Но я так считаю – прошлого не воротить. До сочной отбивной мы все охотники, но остывшая баранина – это, признаюсь, не по мне.

Только несчастный случай помешал Мортимеру Эллису жениться в двенадцатый раз и таким образом довести счет ровно до дюжины, что, видимо, было его заветной целью. Он уже успел обручиться с некоей мисс Хаббард («две тысячи фунтов, не меньше, в облигациях военного займа», – доверительно сообщил он мне), и церковное оглашение уже состоялось, но тут его случайно увидела одна из бывших жен, навела справки и заявила в полицию. Накануне двенадцатой свадьбы его арестовали.

– Дурная она была женщина, – сказал он мне, – обманула меня без всякой жалости.

– Каким же образом?

– А вот каким. Встретил я ее в Истборне, как-то в декабре, на молу, и в разговоре она упомянула, что была модисткой, а теперь на покое. Сказала, что кое-что сумела отложить на черный день. Сколько именно – утаила, но дала понять, что тысячи полторы у нее имеется. А когда я на ней женился, вы не поверите, оказалось, что у нее всего-то триста фунтов. И она же меня потом продала. А она ведь от меня и слова худого не услышала. Другой бы рвал и метал, если б его так одурачили, а я и виду не подал, до чего огорчился. Просто взял и ушел.

– Однако же триста фунтов с собой прихватили?

– Странно вы рассуждаете, сэр, – возразил он обиженно. – На триста фунтов долго не просуществоешь, а я, как-никак, был женат на ней четыре месяца, прежде чем она создалась.

– Простите за нескромный вопрос, – сказал я, – и ради бога не усмотрите в нем невысокого мнения о ваших внешних данных, но... почему они за вас выходили?

– Потому что я их об этом просил, – отвечал он, явно удивленный моей недогадливостью.

– И вы никогда не получали отказа?

– Очень редко. Четыре-пять раз за все время. Я, конечно, делал предложение лишь после того, как основательно прошупаю почву, но и то случалось промахнуться. Вы же понимаете, нет такого человека, чтобы стрелял без промаха. Бывало, что я несколько недель обхаживал женщину, а потом все-таки убеждался – нет, не то.

Я помолчал, занятый своими мыслями. Но вдруг заметил, что подвижная физиономия моего собеседника расплылась в широкой улыбке.

– Все ясно, – сказал он. – Это моя наружность вас ввела в заблуждение. Вам непонятно, что они во мне находили. Вот что значит читать романы и ходить в кино. Вам кажется, что женщин привлекает только тип ковбоя либо уж романтический испанский гидальго – сверкающие глаза, оливковая кожа, и танцует как бог. Забавно, честное слово.

– Рад, что позабавил вас.

– А вы женатый человек, сэр?

– Да, но у меня всего одна жена.

– Один пример, понимаете, не поддается обобщению. Я вас лучше так спрошу: много вы знали бы о собаках, если б у вас за всю жизнь был всего один бультерьер?

Вопрос был явно риторический, ответа не требовалось. А он выдержал паузу и продолжал:

– Ошибаетесь, сэр. Ничего подобного. Каким-нибудь молодым красавчиком они могут увлечься, но замуж за него не пойдут. Красота, если вникнуть, это для них последнее дело.

– Дуглас Джеррольд, человек столь же безобразный, сколь и остроумный, говаривал, что дай ему десять минут форы, и он отобьет женщину у самого красивого мужчины из всех присутствующих.

– Нет, остроумие им тоже не нужно. Когда мужчина их смешит, они воображают, что ему недостает серьезности. И то же самое думают, если мужчина очень уж хорош собой. А им подавай человека серьезного. Без затей. И чтобы к тому же был внимательный. Я, может быть, не блещу красотой и не бог знает как интересен, но, поверьте, у меня есть то, что нужно любой женщине. Солидность. И вот вам доказательство: всех моих жен я осчастливил.

– Это, безусловно, говорит в вашу пользу – и то, что три из них за вас ходатайствовали, и то, что одна готова была принять вас обратно.

– А как это меня мучило, пока я сидел в тюрьме! Я боялся, что, когда меня выпустят, она будет ждать у ворот. Я даже смотрителя попросил: «Ради бога, сэр, прикажите меня вывести как-нибудь так, чтобы никто не видел».

Он опять разгладил на руках перчатки, и опять его взгляд задержался на дырочке на указательном пальце.

– Вот что значит жить в меблированных комнатах, сэр. Как человеку содержать себя в аккурате без женской заботы? Я столько раз был женат, что просто не могу обойтись без жены. Некоторые мужчины не любят жить в браке. Я их не понимаю. Ведь по-настоящему хорошо делаешь только то, во что вложил душу, а я люблю быть женатым. Мне не составляет труда помнить про всякие пустячки, которые женщины ценят, а иные мужчины считают излишним. Как я уже сказал, женщина дорожит вниманием. Я ни разу, уходя из дому, не забыл поцеловать жену, и то же самое, когда возвращался домой. И почти всегда приносил ей подарочек – либо конфеты, либо цветы. Невзирая на расходы.

– Деньги-то вы тратили не свои, – ввернул я.

– Ну и что ж из этого? Важны не деньги, а внимание. Это женщине дороже всего. Нет, хвастать не хочу, но этого у меня не отнимешь – я хороший муж.

Я опять бросил взгляд на отчеты о судебном процессе, которые все еще держал в руках.

– Меня вот что удивляет, – сказал я. – Все это были женщины вполне приличные, не первой молодости, положительные, порядочные. И они выходили за вас замуж, ничего о вас не зная, после такого недолгого знакомства.

Он потрепал меня по руке, как младшего.

– Вот этого-то вы и не понимаете, сэр. Женщины помешаны на замужестве. Молодые и старые, крупные и миниатюрные, блондинки и брюнетки, у всех одна забота: хотят быть замужними. Имейте в виду, я с ними венчался в церкви. Без этого ни одна женщина не чувствует себя спокойно. Вы говорите, я не красавец. Не спорю, я никогда и не считал себя красавцем, но, будь я горбун и без одной ноги, я бы и то нашел сколько угодно женщин, которые с радостью бы за меня пошли. Им не мужчина нужен, а брак. Это у них какая-то мания. Болезнь. Да любая из них пошла бы за меня после второй же встречи, просто я сам предпочитаю не связывать себя, пока не уверен в успехе. Когда все открылось, шум поднялся страшный, потому, видите ли, что я был женат одиннадцать раз. Одиннадцать раз? Подумаешь, даже не полная дюжина. Я, если б захотел, мог бы жениться и тридцать раз. Даю слово, сэр, когда я думаю о моих возможностях, я только поражаюсь собственной умеренности.

– Я помню, вы мне говорили, что любите читать книги по истории.
– Да. Это, кажется, Уоррен Хэстингс сказал?¹ Мне с тех пор запомнилось. Как будто про меня сказано.

– И эти бесконечные идиллии вам не приедались?

– Как вам сказать, сэр, у меня, мне кажется, логический склад ума, и мне, понимаете, всегда приятно было убеждаться, что одинаковые причины вызывают одинаковые следствия. Вот, например, женщине, которая еще никогда не была замужем, я выдавал себя за вдовца. Это действовало безотказно. Девушке импонирует мужчина, который кое-что знает о семейной жизни. А вдовам я всегда говорил, что холост, – вдова всегда опасается, что мужчина, который уже был женат, знает об этом слишком много.

Я отдал ему газетные вырезки. Он аккуратно сложил их и убрал в свой засаленный бумажник.

– Нет, как хотите, а на меня возвели напраслину. Вы только вспомните, как меня называли: язва на теле общества, бессовестный негодяй, презренный мерзавец. Ну скажите, разве это на меня похоже? Вы меня знаете, вы разбираетесь в людях, я вам все о себе рассказал. По-вашему, я дурной человек?

– Мы с вами знакомы очень недавно, – ответил я, как мне показалось, достаточно тактично.

– Хотел бы я знать, попробовал ли хоть раз судья, или присяжные, или публика взглянуть на это дело с моей точки зрения. Публика меня освистала, когда меня ввели в зал суда, полиции пришлось оградить меня от насильственных действий. Подумал ли кто-нибудь о том, что я сделал для этих женщин?

– Вы забрали себе их деньги.

– Конечно, забрал, как же иначе, жить-то мне надо. Но что я дал им взамен за их деньги?

Вопрос был опять риторический, и хотя он словно бы ждал ответа, я промолчал: честно говоря, я не знал, что ответить. А он повысил голос, говорил возбужденно. Видно было, что он не на шутку взволнован.

– Я вам скажу, что я им дал взамен за их деньги. Романтику. Поглядите вокруг. – Широким жестом он словно очертил море до самого горизонта. – В Англии есть сотни таких мест. Поглядите на море, на небо; на эти пансионы; на этот мол и набережную. Неужели у вас не сжимается сердце? Сплошная мертвечина. Вам-то хорошо, вы приезжаете сюда на недельку, отдохнуть, подлечиться. А вы подумайте обо всех этих женщинах, которые живут здесь круглый год. Никаких шансов. Знакомых почти нет. Денег только-только хватает на жизнь. И какая это ужасная жизнь! Точь-в-точь как эта набережная – длинная прямая мощеная дорога, что тянется от одного курорта к другому. Даже сезон не сулит им ничего хорошего. Он их не касается. Словно их и нет на свете. И вдруг появляюсь я. Не забудьте, я ухаживал только за такими женщинами, которые не скрывали, что им за тридцать пять. И я даю им любовь. Да многим из них мужчина ни разу не застегивал платье на спине. Многие ни разу не сидели в темноте на скамейке, чувствуя, как его рука обвивает их талию. Я вношу в их жизнь восхитительную перемену. Даю им самоуважение. Они уже поставили на себе крест, а я подхожу к ним без шума и спокойно этот крест перечеркиваю. Луч солнца в безрадостной пустыне – вот чем я для них был. Немудрено, что они в меня вцеплялись, немудрено, что хотели меня вернуть. Та единственная, что продала меня, была модисткой. Она сказала вдовой. А я полагаю, что она никогда не была замужем. Вы говорите, я поступал с ними подло, а я осчастливил одиннадцать женщин, я озарил их жизнь, когда они уже перестали надеяться. Вы говорите, я негодяй и мерзавец. Неправда. Я филантроп. Мне дали пять лет, а должны были дать медаль Королевского общества человеколюбия.

Он извлек на свет пустую обертку от «Голдфлейкс» и с грустью покачал головой. Когда я протянул ему портсигар, молча взял папиросу. Я наблюдал поучительное зрелище – как

¹ Уоррен Хэстингс (1732–1818), первый генерал-губернатор английских владений в Индии, якобы произнес эти слова, когда был привлечен к суду за казнокрадство и злоупотребление властью – прим. автора.

праведник пытается сдержать свои чувства.

– А что я с этого имел? – продолжал он после паузы. – Стол и квартиру да мелочь на курево. Но отложить ничего не отложил, и вот вам доказательство: теперь, когда я уже не так молод, в кармане у меня ни полкроны. – Он искоса посмотрел на меня. – Вот до чего докатился. А я всегда жил по средствам, отроду не просил у друзей займы. Я уж подумал, сэр, не могли бы вы ссудить мне малую толику. Совестно на это намекать, но, если б вы не пожалели для меня фунта стерлингов, вы бы меня просто спасли.

Что ж, на фунт стерлингов многоженец, безусловно, меня развлек, и я полез за бумажником.

– С удовольствием, – сказал я.

Он смотрел, как я достаю деньги.

– А двух фунтов не найдется, сэр?

– Наверно, найдется.

Я вручил ему две фунтовые бумажки, и он принял их с легким вздохом.

– Вам не понять, что это значит для человека, привыкшего к домашнему комфорту, – не зная, куда приткнуться на ночлег.

– Одно мне хотелось бы у вас спросить, – сказал я. – Не сочтите меня циником, но у меня сложилось впечатление, что, по мнению женщин, библейское «Блаженнее давать, нежели принимать» относится исключительно к нашему полу. Как вам удавалось убедить этих почтенных и, надо полагать, бережливых женщин так неосторожно вверять вам свои сбережения?

Его ничем не примечательное лицо осветила почти веселая улыбка.

– Вот вам объяснение. Скажите женщине, что за полгода вы удвоите ее капитал, и она вам доверит распоряжаться им, да еще будет торопить – бери поскорее. Жадность – вот что это такое. Жадность.

Переход от моего занятого проходимца к атмосфере респектабельности, лаванды и кринолинов, окружавшей Сент-Клеров и мисс Порчестер, по остроте контраста был. подобен горячему соусу с мороженым. С ними я теперь проводил все вечера. Мистер Сент-Клер, как только его дамы удалялись, посылал официанта пригласить меня на стакан портвейна. Потом мы вместе шли в гостиную пить кофе. Тут мистер Сент-Клер с удовольствием выпивал рюмочку коньяку. Этот час в их обществе был так упоительно скучен, что я находил в нем какую-то особенную прелесть. Администратор, очевидно, рассказала им, что я пишу и пьесы.

– Мы часто ездили в театр, когда сэр Генри Ирвинг играл в «Лицеуме», – сказал однажды мистер Сент-Клер. – Я даже имел счастье с ним познакомиться. Сэр Эверард Милле пригласил меня однажды поужинать в клуб «Гаррик» и представил меня мистеру Ирвингу – он тогда еще не был пожалован титулом.

– Расскажи, что он тебе сказал, Эдвин, – попросила миссис Сент-Клер.

Мистер Сент-Клер встал в позу и очень недурно изобразил высокопарную манеру Генри Ирвинга:

– «У вас, мистер Сент-Клер, лицо актера, – сказал он. – Если надумаете идти на сцену, приходите ко мне, я дам вам роль». – Мистер Сент-Клер снова заговорил естественным тоном: – Какому юноше это не вскружило бы голову!

– А вам не вскружило, – сказал я.

– Не скрою, занимая я другое положение в обществе, я мог бы и соблазниться. Но я должен был помнить о моей семье. Для моего отца это был бы страшный удар, ведь он рассчитывал, что я пойду по его стопам.

– И чем же вы занимаетесь?

– Я торгую чаем, сэр. Моя фирма – старейшая в Сити. Сорок лет жизни я посвятил тому, чтобы по мере сил противодействовать желанию моих соотечественников пить Цейлонский чай вместо китайского, который в дни моей молодости пили все.

Мне показалось, что это очень трогательно и так на него похоже – посвятить жизнь тому, чтобы убеждать публику покупать то, чего ей не нужно.

– Но когда мой муж был моложе, – сказала миссис Сент-Клер, – он много участвовал в любительских спектаклях, и его считали очень способным.

– Шекспир, знаете ли, да изредка «Школа злословия». Играть в несерьезных пьесах я никогда не соглашался. Но это дело прошлое. Талант у меня был. Жаль, может быть, что я зарыл его в землю, но теперь поздно горевать. Когда мы устраиваем званый обед, дамам иногда удается уговорить меня прочесть знаменитые монологи из «Гамлета». Не более того.

Батюшки мои! Мне прямо дурно сделалось при мысли об этих званных обедах. А что, если я и сам удостоюсь приглашения? Миссис Сент-Клер подарила меня улыбкой, чуть шокированной и чопорной.

– В молодости мой муж охотно общался с богемой.

– Я отдал дань увлечениям юности. Знавал многих художников, писателей, например Уилки Коллинза, даже таких, что сотрудничали в газетах. Уотс написал портрет моей жены. Одну картину Милле я купил. Был знаком кое-кем из прерафаэлитов.

– А что-нибудь Россетти у вас есть?

– Нет. Таланту Россетти я отдавал должное, но его личной жизни не одобрял. Я бы никогда не купил картину художника, которого мне не захотелось бы пригласить к себе в гости.

Голова у меня уже шла кругом, но тут мисс Порчестер взглянула на свои часики и спросила:

– А вы нам сегодня не почитаете, дядя Эдвин?

И я откланялся.

Как-то вечером, когда мы с мистером Сент-Клером попивали портвейн, он поведал мне печальную историю мисс Порчестер. Она, оказывается, была когда-то помолвлена с племянником миссис Сент-Клер, молодым юристом, но вдруг стало известно, что он согрешил с дочерью своей уборщицы.

– Это было ужасно, – сказал мистер Сент-Клер. – Просто ужасно. Но моя племянница, конечно, выбрала единственный возможный путь. Она вернула ему кольцо, все его письма и снимки и сказала, что не может за него выйти. Она умоляла его жениться на молодой особе, которую он обольстил, сказала, что будет ей сестрой. Сердце ее было разбито. С тех пор она никого не любила.

– И он женился на той молодой особе?

Мистер Сент-Клер со вздохом покачал головой.

– Нет, мы в нем жестоко ошиблись. Моя бедная жена долго не могла примириться с мыслью, что ее племянник мог поступить так бесчестно. Через некоторое время мы узнали, что он обручен с одной молодой девицей из прекрасной семьи, за которой давали двенадцать тысяч. Я счел своим долгом написать ее отцу и открыть ему глаза. Он ответил мне в высшей степени неучтиво. Написал, что, по его мнению, куда лучше, если молодой человек заводит любовницу до женитьбы, а не после.

– А дальше что было?

– Они поженились, и теперь племянник моей жены – член верховного суда, а жена его носит дворянский титул. Когда племянник моей жены был удостоен рыцарского звания, Элинор предложила, не пригласить ли их к нам на обед, но моя жена сказала, что ноги его не будет в нашем доме, и я ее поддержал.

– А дочка уборщицы?

– Та вышла замуж в своем кругу, теперь держит трактир в Кентербери. У моей племянницы есть немного собственных средств, она очень ей помогла и крестила у нее первого ребенка.

Бедная мисс Порчестер! Принесла себя в жертву на алтарь викторианской морали, и, боюсь, единственной наградой за это ей было сознание, что она поступила как должно.

– Мисс Порчестер на редкость хороша собой, – сказал я. – В молодости она, наверно, была неотразима. Просто непонятно, что она так и не вышла замуж.

– Мисс Порчестер славилась своей красотой. Альма Тадема так восхищался ею, что

просил ее позировать для какой-то своей картины, но мы, конечно, не могли на это пойти. – По тону мистера Сент-Клера я понял, что просьба эта в свое время глубоко оскорбила его чувство приличия.

– Нет, мисс Порчестер никогда не любила никого, кроме своего кузена. Она никогда о нем не говорит, и прошло уже тридцать лет с тех пор, как они расстались, но я уверен, что она до сих пор его любит. Она останется ему верна до гроба, сэр, и я, хотя, может быть, и жалею, что радости замужества и материнства не достались ей на долю, не могу не восхищаться ею.

Но сердце женщины неисповедимо, и опрометчиво судит тот, кто предрекает ей постоянство до гробовой доски. Да, дядя Эдвин, опрометчиво. Вы знали Элиноর много лет, ведь, когда ее мать заболела и умерла и вы привезли сироту в ваш богатый, даже роскошный дом на Ленстер-сквер, она была малым ребенком. Но в сущности, дядя Эдвин, много ли вы знаете об Элинор? Всего через два дня после того, как мистер Сент-Клер поведал мне трогательную историю мисс Порчестер, я, поиграв в гольф, вернулся в гостиницу, где меня встретила администратор, донельзя взволнованная.

– Мистер Сент-Клер велел кланяться и просил, чтобы вы, как только вернетесь, поднялись к нему в двадцать седьмой номер.

– Сейчас пойду. А что там стряслось?

– Ой, полный переполох. Они вам сами скажут.

Я постучал и, услышав: «Да, да, войдите», вспомнил, что мистер Сент-Клер когда-то играл шекспировских героев в лучшей любительской труппе Лондона. Я вошел. Миссис Сент-Клер лежала на диване, на лбу у нее был платок, смоченный одеколоном, в руке пузырек с нюхательной солью. Мистер Сент-Клер стоял перед камином в такой позиции, что никому другому в комнате не могло перепасть ни капли тепла.

– Не обессудьте за столь бесцеремонное приглашение, – сказал он, – но у нас большая беда, и мы подумали, не поможет ли вы нам понять то, что случилось.

Он явно был в расстроенных чувствах.

– Но что именно случилось?

– Наша племянница мисс Порчестер сбежала. Нынче утром она послала моей жене записку, сказать, что у нее мигрень. Когда у нее бывают ее мигрени, она всегда просит оставлять ее одну, и жена только часа в четыре решила к ней навеститься, узнать, не нужно ли ей чего. Ее комната оказалась пуста. Чемодан был уложен. Несессер с серебряными застежками исчез. А на подушке лежало письмо, в котором она извещала нас о своем сумасбродном поступке.

– Сочувствую вам, – сказал я, – но ума не приложу, чем я могу быть вам полезен.

– Нам казалось, что, кроме вас, у нее не было в Элсоне ни одного знакомого джентльмена.

В мозгу у меня забрезжила догадка.

– Теперь я вижу, она сбежала не с вами. В первую минуту мы подумали... но раз это не вы, так кто же?

– Право, не знаю.

– Покажи ему письмо, Эдвин, – сказала миссис Сент-Клер, приподнимаясь на диване.

– Лежи, лежи, Гертруда, а то как бы твой прострел не разыгрался.

У мисс Порчестер бывали «свои» мигрени, у миссис Сент-Клер – «свой» прострел. А у мистера Сент-Клера? Я готов был поручиться, что у него имелась «своя» подагра. Он протянул мне письмо, и я стал читать, придав своим чертам подобающее случаю выражение.

«Дорогие дядя Эдвин и тетя Гертруда! Когда вы получите это письмо, я буду далеко. Я сегодня выхожу замуж за человека, который очень мне дорог; Я знаю, что, не сказавшись вам, поступаю дурно, но я боялась, как бы вы не стали препятствовать моему браку, а поскольку решение мое бесповоротно, я подумала, что, если ничего не скажу заранее, это избавит нас всех от тяжелого разговора. Мой жених любит уединенную жизнь, к тому же длительное пребывание в тропических

странах подточило его здоровье, и он решил, что нам лучше пожениться без всякого шума. Когда вы узнаете, как безмерно я счастлива, вы, надеюсь, простите меня. Будьте добры, отошлите мой чемодан в камеру хранения на вокзале Виктории.»

*Любящая вас племянница
Элинора.*

Я вернул письмо мистеру Сент-Клеру.

– Я никогда ей не прощу, – сказал он. – Ноги ее больше не будет в моем доме. Гертруда, я запрещаю тебе поминать о ней в моем присутствии.

Миссис Сент-Клер тихо заплакала.

– Не слишком ли вы суровы? – сказал я. – Почему бы, собственно, мисс Порчестер и не выйти замуж?

– В ее-то возрасте? – возразил он гневно. – Это нелепо. Да мы станем всеобщим посмешищем на Ленстер-сквер. Вы знаете, сколько ей лет? Пятьдесят один год.

– Пятьдесят четыре, – поправила миссис Сент-Клер сквозь слезы.

– Мы берегли ее как зеницу ока. Любили, как родную дочь. Она уже сколько лет была старой девой. С ее стороны помышлять о замужестве просто неприлично.

– Для нас она всегда оставалась молоденькой, – с мольбой напомнила миссис Сент-Клер.

– И кто этот человек, за которого она вышла? Обман – вот что не дает мне покоя. Ведь она, значит, любезничала с ним прямо у нас под носом. Даже имени его не назвала. Я опасюсь самого худшего.

Внезапно меня озарило. В то утро я вышел купить папирос и в табачной лавке встретил Мортимера Эллиса. Перед тем я не видел его несколько дней.

– Вы сегодня франтом, – сказал я.

Башмаки его были починены и блестели, шляпа вычищена, на нем был новый воротничок и новые перчатки. Я еще подумал, что он неплохо распорядился моими двумя фунтами.

– Еду в Лондон по делу, – сказал он.

Я кивнул и вышел из лавки.

И еще я вспомнил, как две недели назад, гуляя за городом, я встретил мисс Порчестер, а вскоре затем, через несколько шагов, – Мортимера Эллиса. Значит, они гуляли вместе и он нарочно отстал, когда они заметили меня? Да, да, все сходится.

– Вы как будто упоминали, что у мисс Порчестер есть собственный капитал? – спросил я.

– Так, безделица. Три тысячи фунтов.

Последние сомнения отпали. Я смотрел на него, не зная, что сказать. Внезапно миссис Сент-Клер ахнула и вскочила с дивана.

– Эдвин, Эдвин, а вдруг он на ней не женится?

Тут мистер Сент-Клер поднес руку ко лбу и без сил опустился в кресло.

– Этого позора я не переживу, – простонал он.

– Упокойтесь, – сказал я. – Он непременно на ней женится. У него так заведено. Он обвенчается с ней в церкви.

Они пропустили мои слова мимо ушей. Возможно, им почудилось, что я лишился рассудка. А мне теперь все было ясно. Мортимер Эллис добился-таки своего. С помощью мисс Порчестер он довел счет до вожаемой дюжины.

**Нечто человеческое
(пер. Н. Галь)**

Кажется, я всегда попадаю в Италию только в мертвый сезон. В августе и сентябре

разве что остановлюсь проездом дня на два, чтобы еще разок взглянуть на милые мне по старой памяти места или картины. В эту пору очень жарко, и жители Вечного города весь день слоняются взад и вперед по Корсо. «Кафе национале» полным-полно, посетители часами сидят за столиками перед стаканом воды и пустой кофейной чашкой. В Сикстинской капелле видишь белобрых, обожженных солнцем немцев в шортах и рубашках с открытым воротом, которые прошагали по пыльным дорогам Италии с рюкзаками, а в соборе св. Петра – кучки усталых, но усердных паломников, прибывших из какой-нибудь далекой страны. Они находятся на попечении священнослужителя и говорят на непонятных языках. В отеле «Плаза» той порой прохладно и отдохновенно. Холлы темны, тихи и просторны. В гостиной в час вечернего чая только и сидят молодой щеголеватый офицер да женщина с прекрасными глазами, пьют холодный лимонад и негромко разговаривают с чисто итальянской неутомимой живостью. Поднимаешься к себе в номер, читаешь, пишешь письма, через два часа опять спускаешься в гостиную, а они все еще разговаривают. Перед обедом кое-кто заглядывает в бар, но в остальное время он пуст, и бармен на досуге рассказывает о своей матушке в Швейцарии и о своих похождениях в Нью-Йорке. Вы с ним рассуждаете о жизни, о любви и о том, как подорожали спиртные напитки.

Вот и в этот раз отель оказался чуть не в полном моем распоряжении. Провожая меня в номер, служащий сказал, будто все переполнено, но, когда я, приняв ванну и переодевшись, отправился вниз, лифтер, давний знакомец, сообщил что постояльцев сейчас всего человек десять. Усталый после долгой поездки в жару по Италии, я решил мирно пообедать в отеле и лечь пораньше. Когда я вошел в просторный, ярко освещенный ресторан, было уже поздно, но заняты оказались лишь три или четыре столика. Я удовлетворенно огляделся. Очень приятно, когда ты один в огромном и, однако, не совсем чужом городе, в большом, почти безлюдном отеле. Чувствуешь себя восхитительно свободно. Крылышки моей души радостно затрепетали. Я помедлил минут десять у стойки и выпил martini. Спросил бутылку хорошего красного вина. Ноги гудели от усталости, но все существо мое с ликованием встретило еду и напитки, и мне стало на редкость беззаботно и легко. Я съел суп и рыбу и предался приятным мыслям. На ум пришли обрывки диалога, и воображение пустилось весело играть действующими лицами романа, над которым я в ту пору работал. Я попробовал на вкус одну фразу, она была лучше вина. Я задумался о том, как трудно описать наружность человека, чтобы читатель увидел его таким же, каким его видишь сам. Для меня это едва ли не труднее всего. Что, в сущности, дает читателю, если описываешь лицо черточку за черточкой? По-моему, ровно ничего. И, однако, иные авторы выбирают какую-нибудь особенность, скажем, кривую усмешку или бегающие глазки, и подчеркивают ее, что, конечно, действует на читателя, но не решает задачу, а скорее запутывает. Я поглядел по сторонам и задумался – как можно бы описать посетителей за другими столиками. Какой-то человек сидел в одиночестве напротив меня, и, чтобы попрактиковаться, я спросил себя, как набросать его портрет. Он высокий, худощавый и, что называется, долговязый. На нем смокинг и крахмальная сорочка. Лицо длинновато, блеклые глаза; волосы довольно светлые и волнистые, но уже редуют, отступают с висков, от чего лоб приобрел некоторое благородство. Черты ничем не примечательные. Рот и нос самые обыкновенные; лицо бритое; кожа от природы бледная, но сейчас покрыта загаром. Судя по виду, человек интеллигентный, но, пожалуй, заурядный. Похоже, какой-нибудь адвокат или университетский преподаватель, любитель играть в гольф. Скорее всего, у него неплохой вкус, он начитан и, наверно, был бы очень приятным гостем на светском завтраке в Челси. Но как, черт возьми, описать его в нескольких строчках, чтобы получился живой, интересный и верный портрет, не знаю, хоть убейте.

Может быть, лучше отбросить все остальное и подчеркнуть главное – впечатление какого-то утомленного достоинства. Я задумчиво разглядывал этого человека. И вдруг он подался вперед и чопорно, но учтиво кивнул мне. У меня дурацкая привычка краснеть, когда я застигнут врасплох, и тут я почувствовал, как вспыхнули щеки. Я даже испугался. Надо ж было несколько минут глазеть на него, точно это не человек, а манекен. Должно быть, он счел

меня отъявленным нахалом. Очень смущенный, я кивнул и отвел глаза. К счастью, в эту минуту официант подал мне следующее блюдо. Насколько мне помнилось, я никогда прежде не видел того человека. Может быть, он поклонился мне в ответ на мой настойчивый взгляд, решив, что мы когда-нибудь встречались, а может быть, я и правда когда-то с ним сталкивался и начисто об этом забыл. У меня плохая память на лица, а тут у меня есть оправдание: людей, в точности на него похожих, великое множество. В погожий воскресный день на площадках для гольфа вокруг Лондона видишь десятки его двойников.

Он покончил с обедом раньше меня. Поднялся, но, проходя мимо моего столика, остановился. И протянул руку.

– Здравствуйте, – сказал он. – Я не сразу вас узнал, когда вы вошли. Я совсем не хотел быть невежливым.

Голос у него был приятный, интонации чисто оксфордские, которым старательно подражают многие, кто в Оксфорде не учился. Он явно знал меня и столь же явно не подозревал, что я-то его не узнаю. Я встал, и, поскольку он был много выше, он посмотрел на меня сверху вниз. В нем чувствовалась какая-то вялость. Он слегка сутулился, от этого еще усиливалось впечатление, будто вид у него немножко виноватый. Держался он словно бы чуть высокомерно и в то же время чуть стесненно.

– Не выпьете ли со мной после обеда чашку кофе? – предложил он. – Я совсем один.

– Спасибо, с удовольствием.

Он отошел, а я все еще не понимал, кто он такой и где я его встречал. Я заметил одну странность. Пока мы обменивались этими несколькими словами, пожимали друг другу руки и когда он кивнул мне отходя, ни разу на лице его не мелькнула хотя бы тень улыбки. Увидав его ближе, я заметил, что он по-своему недурен собой: правильные черты, красивые серые глаза, стройная фигура; но все это, на мой взгляд, было неинтересно. Иная глупая дамочка сказала бы, что он выглядит романтично. Он напоминал какого-нибудь рыцаря с картин Берн-Джонса, только покрупнее, и незаметно было, чтобы он страдал хроническим колитом, как эти несчастные тощие герои. Воображаешь что человек такой наружности будет изумителен в экзотическом костюме, а когда увидишь его в маскарade, окажется, он нелеп.

Вскоре я покончил с обедом и вышел в гостиную. Он сидел в глубоком кресле и, увидав меня, подозвал официанта. Я сел. Подошел официант, и он заказал кофе и ликеры. По-итальянски он говорил отлично. Я ломал голову, как бы выяснить, кто он такой, не оскорбив его. Людям всегда обидно, если их не узнаешь, они весьма значительны в собственных глазах, и их неприятно поражает открытие, что для других они значат очень мало. По беглой итальянской речи я узнал этого человека. Я вспомнил, кто он, и в то же время вспомнил, что не люблю его. Звали его Хэмфри Кэразерс. Он служил в министерстве иностранных дел, занимал довольно важный пост. Возглавлял какой-то департамент. Побывал в качестве атташе при нескольких посольствах и, надо думать, в Риме оказался потому, что в совершенстве владел итальянским языком. Глупо, как я сразу не понял, что он связан именно с дипломатией. Все приметы его профессии бросались в глаза. Его отличала надменная учтивость, тонко рассчитанная на то, чтобы выводить из себя широкую публику, и отрешенность дипломата, сознающего, что он не чета простым смертным, и в то же время некоторая стеснительность, вызванная неуютным сознанием, что простые смертные, пожалуй, не вполне это понимают. Я знал Кэразерса многие годы, но встречал лишь изредка, за завтраком у кого-нибудь в гостях, где разве что с ним здоровался, да в опере, где он мне холодно кивал. Считалось, что он умен; несомненно, он был человек образованный. Он мог поговорить обо всем, о чем говорить полагается. Непростительно, что я его не вспомнил, ведь в последнее время он приобрел немалую известность как писатель. Его рассказы появлялись сначала в каком-нибудь журнале из тех, которые порой надумает издавать иной благожелатель, намеренный предложить разумному читателю нечто достойное внимания, и которые испускают дух, когда владелец потеряет на них столько денег, сколько готов был истратить; и, появляясь на этих скромных, изящно отпечатанных страницах, рассказы его привлекали ровно столько внимания, сколько позволял ничтожный тираж. Затем они вышли

отдельной книгой. И произвели сенсацию. Редко я читал столь единодушные хвалы в еженедельных газетах. Почти все уделили книге целую колонку, а литературное приложение к «Тайме» поместило отзыв о ней не в куче рецензий на рядовые романы, но особо, рядом с воспоминаниями почтенного государственного деятеля. Критики приветствовали Хэмфри Кэразерса как новую звезду на литературном небосклоне. Они превозносили его оригинальность, его изысканность, его тонкую иронию и проницательность. Превозносили его стиль, чувство красоты и настроение его рассказов. Наконец-то появился писатель, поднявший рассказ на высоты, давно утраченные в англоязычных странах, вот литература, которой вправе гордиться англичане, достойная стать наравне с лучшими образцами этого жанра, созданными в Финляндии, России и Чехословакии.

Три года спустя вышла вторая книга Хэмфри Кэразерса, и критики с удовлетворением отметили, что он не спешил. Это вам не вульгарный писака, торгующий своим дарованием! Похвалы, которыми встретили эту книгу, оказались несколько прохладнее тех, какие расточали первому тому, критики успели собраться с мыслями, однако приняли ее достаточно восторженно, такими отзывами счастлив был бы любой обыкновенный автор, пером зарабатывающий свой хлеб, и, несомненно, Кэразерс занял в литературном мире прочное и почетное место. Наибольшее одобрение заслужил рассказ под названием «Кисточка для бритья», и лучшие критики подчеркивали, как прекрасно автор всего лишь на трех-четырёх страницах раскрыл трагедию души парикмахерского подмастерья.

Но самый известный и притом самый длинный его рассказ назывался «Суббота и воскресенье». Он дал название всей первой книге Кэразерса. Речь шла о приключениях компании, которая субботним днем отправилась с Паддингтонского вокзала погостить у друзей в Тэпло и в понедельник утром вернулась в Лондон. Описывалось это весьма деликатно, даже трудновато было понять, что же, собственно, происходит. Некий молодой человек, секретарь некоего министра, совсем уже готов был сделать предложение дочери некоего баронета, но не сделал. Двое или трое других участников поездки пустились в плоскодонном ялике по реке. Все очень много разговаривали, сплошь намеками, но каждый обрывал фразу на полуслове, и лишь по многоточиям и тире можно было догадываться, что же они хотели сказать. Было множество описаний цветов в саду и прочувствованное изображение Темзы под дождем. Повествование велось от лица немки-гувернантки, и все единодушно заявляли, что Кэразерс с прелестным юмором передал ее взгляд на происходящее.

Я прочитал обе книги Хэмфри Кэразерса. Полагаю, писателю необходимо знать, что пишут его современники. Я всегда рад чему-то научиться и надеялся открыть в этих книгах что-нибудь полезное для себя. Меня ждало разочарование. Я люблю рассказы, у которых есть начало, середина и конец. Мне непременно нужна «соль», какой-то смысл. Настроение – это прекрасно, но одно только настроение – это рама без картины, оно еще ничего не значит. Впрочем, может быть, я не замечал достоинств Кэразерса оттого, что мне самому чего-то не доставало, и, возможно, два самых нашумевших его рассказа я описал без восторга потому, что задето было мое самолюбие. Ведь я прекрасно понимал: Хэмфри Кэразерс считает меня неважным писателем. Я уверен, он не прочел ни одной моей строчки. Я популярен, и этого довольно, чтобы он решил, что я не стою его внимания. На время вокруг него поднялся такой шум, что казалось, он и сам станет жертвой презренной популярности, но, как вскоре выяснилось, его изысканное творчество недоступно широкой публике. Очень трудно определить, насколько многочисленна интеллигенция, зато совсем несложно определить, многие ли из среды интеллигенции согласны выложить деньги, чтобы поддержать свое возлюбленное искусство. Спектакли, чересчур утонченные, чтобы привлечь посетителей коммерческого театра, могут рассчитывать на десять тысяч зрителей, а книги, требующие от читателя больше понимания, чем можно ожидать от заурядной публики, находят сбыт в количестве тысячи двухсот экземпляров. Ибо интеллигенция, сколь она ни чувствительна к красоте, предпочитает ходить в театр по контрамарке, а книги брать в библиотеке.

Я уверен, Кэразерс это не огорчало. Он был человек искусства. И притом служил в

министерстве иностранных дел. Как писатель он составил себе имя; успех у обывателей его не привлекал, а стань его книги ходким товаром, это, пожалуй, повредило бы его карьере. Я терялся в догадках, чего ради ему вздумалось пить со мной кофе. Правда, он здесь один, но, надо полагать, отнюдь не скучал бы наедине со своими мыслями, и уж наверно не надеется услышать от меня хоть что-то ему интересное. А между тем явно изо всех сил старается быть любезным. Он напомнил мне, где мы в последний раз встречались, и мы потолковали немного об общих лондонских знакомых. Он спросил, как я попал в Рим в это время года, и я объяснил. Он сообщил, что прибыл только сегодня утром из Бриндизи. Разговор не очень вязался, и я решил встать и распрощаться, как только позволят приличия. Но вот странно, вскоре, не знаю отчего, почувствовал, что он уловил это мое намерение и отчаянно старается меня удержать. Я удивился. Стал внимательней. Заметил, что, едва я умолкаю, он находит новый предмет для беседы. Пытается хоть чем-то меня заинтересовать, лишь бы я не ушел. Просто из кожи вон лезет, чтоб быть мне приятнее. Но не страдает же он от одиночества; при его дипломатических связях уж наверно у него полно знакомств, нашлось бы с кем провести вечер. В самом деле, странно, почему он не обедает в посольстве; даже сейчас, летом, там уж наверно есть кто-нибудь знакомый. И еще я заметил, что он ни разу не улыбнулся. Он говорил слишком резко, нетерпеливо, будто боялся даже мимолетного молчания и звуком собственного голоса силился заглушить некую мучительную мысль. Все это было престранно. И хоть я не любил его, ни в грош не ставил и его общество меня даже раздражало, мне поневоле стало любопытно. Я посмотрел на него испытующе. То ли мне почудилось, то ли и правда в его блеклых глазах есть что-то затравленное, точно у побитой собаки, и в бесстрастных чертах, наперекор привычной выдержке, сквозит намек на гримасу душевного страдания. Я ничего не понимал. В мозгу промелькнуло с десятков нелепейших догадок. Не то чтобы я ему сочувствовал, но насторожился, как старый боевой конь при звуках трубы. Еще недавно меня одолевала усталость, теперь я был начеку. Внимание напрягло свои чуткие щупальца. Я вдруг стал примечать малейшее изменение в его лице, малейшее движение. Я отбросил мысль, что он сочинил пьесу и хочет услышать мое мнение. Таких вот утонченных эстетов почему-то неотвратимо влечет блеск рамп, и они не прочь заполучить подсказку профессионала, чью искусственность будто бы презирают. Но нет, тут что-то другое. В Риме одинокому человеку с изысканными вкусами легко попасть в беду, и я уже спрашивал себя, не впутался ли Кэразерс в какую-нибудь историю, когда за помощью меньше всего можно обратиться в посольство. Я и прежде замечал, что идеалисты порой бывают неосмотрительны в плотских развлечениях. Подчас они ищут любви в таких местах, куда некстати заглядывает полиция. Я подавил затаенный смех. Боги – и те смеются, когда самодовольный педант попадает в двусмысленное положение.

И вдруг Кэразерс произнес слова, которые меня поразили.

– Я страшно несчастен, – пробормотал он.

Он сказал это без всякого перехода. И явно искренне. Голос его прервался каким-то всхлипом. Чуть ли не рыданием. Не могу передать, как ошарашили меня его слова. Чувство было такое, как будто шел по улице, повернул за угол и порыв встречного ветра перехватил дыхание и едва не сбил с ног. Совершенная неожиданность. В конце концов, знакомство у нас было шапочное. Мы не друзья. Он мне очень мало приятен, я очень мало приятен ему. Я всегда считал, что в нем маловато человеческого. Непостижимо, чтобы мужчина, такой сдержанный, прекрасно воспитанный, привычный к рамкам светских приличий, ни с того ни с сего сделал подобное признание постороннему. Я по природе человек замкнутый. Как бы я ни страдал, я постыдился бы открыть кому-то свою боль. Меня передернуло. Его слабость меня возмутила. На минуту во мне вскипела ярость. Как он посмел взвалить на меня свои душевные муки? Я едва не крикнул:

– Да какое мне дело, черт возьми?

Но смолчал. Кэразерс сидел сгорбившись в глубоком кресле. Благородные черты, напоминающие мраморную статую одного из государственных деятелей викторианской поры, исказились, лицо обмякло. Казалось, он сейчас заплачет. Я колебался. Я растерялся.

Когда он сказал это, кровь бросилась мне в лицо, а теперь я чувствовал, что бледнею. Он был жалок.

– От души сочувствую, – сказал я.

– Я вам все расскажу, вы позволите?

– Расскажите.

Многословие в эту минуту было неуместно. Кэразерсу, я думаю, шел пятый десяток. Он был хорошо сложен, на свой лад даже крепок, с уверенной осанкой. А сейчас казался на двадцать лет старше и словно бы усох. Мне вспомнились убитые солдаты, которых я видел во время войны, смерть делала их странно маленькими. Я смутился, отвел глаза, но почувствовал, что он ищет моего взгляда, и опять посмотрел на него.

– Вы знакомы с Бетти Уэлдон-Бернс? – спросил он.

– Встречал ее иногда в Лондоне много лет назад. Но давно уже не видел.

– Она, знаете, живет теперь на Родосе. Я сейчас оттуда. Я гостил у нее.

– Вот как?

Он замялся.

– Боюсь, вам кажется дикостью, что я так с вами говорю. Только сил моих больше нет. Надо кому-нибудь все выложить, не то я сойду с ума.

Прежде он заказал с кофе двойную порцию коньяка, а тут окликнул официанта и спросил еще. В гостиной мы были одни. На столике между нами горела небольшая лампа под абажуром. Говорил он вполголоса, ведь в любую минуту мог кто-нибудь войти. Как ни странно, тут было довольно уютно. Не сумею повторить в точности рассказ Кэразерса, невозможно было бы запомнить все, слово в слово; мне удобнее пересказать это по-своему. Иногда он не мог заставить себя что-то сказать прямо, и мне приходилось угадывать, что он имеет в виду. Иногда он чего-то не понимал, и, похоже, в каких-то отношениях я лучше разбирался в сути дела. Бетти Уэлдон-Бернс одарена тонким чувством юмора. Кэразерс же начисто его лишен. Я уловил много такого, что от него ускользнуло.

Бетти я встречал часто, но знал больше понаслышке. В свое время она привлекала всеобщее внимание в тесном лондонском мирке, и я много слышал о ней еще прежде, чем увидел. А встретил ее впервые на балу в Портленд-Плейс вскоре после войны. Тогда она была уже на вершине славы. Какую иллюстрированную газету ни раскроешь, непременно увидишь ее портрет, кругом только и разговору, что о ее сумасбродных выходках. Ей тогда было двадцать четыре года. Ее мать умерла, отец, герцог Сент-Эрт, уже старый и не слишком богатый, большую часть года проводил в своем корнуоллском замке, а Бетти жила в Лондоне у вдовеющей тетушки. Когда грянула война, она отправилась во Францию. Ей только-только минуло восемнадцать. Она была сестрой милосердия в госпитале при военной базе, потом научилась водить машину. Она играла в труппе, которую послали в воинские части для развлечения солдат; в Англии она участвовала в живых картинах на благотворительных вечерах и во всяких благотворительных базарах и продавала флажки на Пикадилли. Каждая ее затея широко рекламировалась, и в каждой новой роли ее несчетно фотографировали. Полагаю, она и тогда ухитрялась недурно проводить время. Но когда война кончилась, Бетти разгулялась напропалую. Тогда все немножко потеряли голову. Молодежь, освободясь от гнета, что давил на нее долгих пять лет, пускалась в самые безрассудные затеи. И неперенной их участницей была Бетти. Иногда, по разным причинам, сообщения о таких забавах попадали в газеты – и в заголовках неизменно красовалось ее имя. В ту пору начали процветать ночные клубы – Бетти там видели каждую ночь. Ее жизнь полна была лихорадочного веселья. Только самая банальная фраза тут и подходит, потому что это была сама банальность. Британская публика по странной причуде вспыхнула к Бетти нежными чувствами, и в любом уголке на Британских островах ее называли запросто «леди Бетти». Женщины толпились вокруг нее, увидав ее на чьей-нибудь свадьбе, а на театральных премьерах галерка аплодировала ей, словно знаменитой актрисе. Молоденькие девчонки перенимали ее манеру причесываться, фабриканты мыла и косметики платили ей за право поместить ее фотографию на своих товарах.

Скучные тугодумы, те, кто помнил прежние порядки и жалел о них, разумеется, ее осуждали. Они издевались над тем, что она всегда на виду. Говорили, что она помешана на саморекламе. Говорили, что она распущенная особа. Что она слишком много пьет. Что она слишком много курит. Признаюсь, все, что я о ней слышал, не располагало в ее пользу. Я невысокого мнения о женщинах, которые, кажется, считают войну удобным случаем поразвлечься и показать себя. Мне надоели газеты с фотографиями светских особ, разгуливающих в Каннах или играющих в гольф в Сент-Эндрюсе. Я всегда считал «золотую молодежь» безмерно утомительной. Стороннему наблюдателю веселая жизнь кажется скучной и глупой, но неразумен моралист, который станет судить ее сурово. Сердиться на молодежь за это веселье так же нелепо, как на щенят, которые носятся бессмысленно взад-вперед, барахтаются в куче или ловят собственный хвост. Лучше спокойно стерпеть, если они разроют клумбу в саду или разобьют какую-нибудь фарфоровую вещь. Кое-кого из них утопят, потому что они окажутся хороши не по всем статьям, а из остальных вырастут вполне добропорядочные собаки. Буйствуют они просто по молодости, от избытка жизненных сил.

Бетти отличалась как раз избытком жизненных сил. Жажда жизни горела в ней ослепительно ярким огнем. Мне, наверно, не забыть, какой я увидел ее впервые на том балу. Она была подобна менаде. Она самозабвенно отдавалась танцу, нельзя было не смеяться, на нее глядя, так явно наслаждалась она и музыкой, и движениями своего молодого тела. Каштановые волосы слегка растрепались от резких движений, а глаза синие-синие, молочно-белая кожа и румянец как лепестки роз. Она была красавица, но в ней не было холодности признанных красавиц. Она поминутно смеялась, а если не смеялась, так улыбалась, и в глазах искрилась радость жизни. Она была точно служанка с молочной фермы богов. В ней чувствовались здоровье и сила простонародья, и, однако, по независимым повадкам, по какой-то благородной прямоте во всем облике угадывалась настоящая леди. Не знаю, как верней передать тогдашнее мое ощущение – что хоть держалась она просто, безыскусственно, однако не забывала о своем положении в обществе. Мне казалось, если понадобится, она обретет все свое достоинство и станет поистине величественна. Она была мила со всеми и каждым, вероятно, потому, что, не очень об этом задумываясь, втайне полагала – все вокруг ничтожны. Мне стало понятно, отчего ее обожают фабричные девчонки в Ист-Энде и отчего сотням тысяч людей, которые видели ее только на фотографиях, она кажется задушевной подружкой. Меня ей представили, и несколько минут она со мной поговорила. Необыкновенно лестно было, что она слушает с живейшим интересом; понимаешь, что едва ли она так уж рада с тобой познакомиться, как это кажется, и не так уж ее восхищает каждое твое слово, и все же это покоряло. Она обладала даром с легкостью преодолевать неловкость первого знакомства, не пройдет пяти минут, а уже кажется, будто знаешь ее всю жизнь. Кто-то перехватил ее у меня и увлек в танце, и она отдалась в руки партнера с тем же радостным нетерпением, какое выразилось на ее лице, когда она села рядом и заговорила со мной. Две недели спустя мы встретились в гостях, и я с удивлением убедился, что она в точности помнит, о чем мы говорили в те десять минут среди шума и танцев. Она обладала всеми достоинствами светской молодой женщины.

Я рассказал об этом случае Кэразерсу.

– Она очень неглупа, – заметил он. – Мало кто знает, какая она умница. Она писала очень хорошие стихи. Она всегда весела, всегда беззаботна, ни с кем ничуть не считается, вот люди и думают, будто у нее ветер в голове. Ничего подобного. Она умна как бес. Трудно понять, откуда у нее взялось на это время, но она очень много читала. Едва ли кто-нибудь знает ее с этой стороны так, как знаю я. По воскресеньям мы с нею часто гуляли за городом, а в Лондоне ездили в Ричмонд-парк и там тоже гуляли и разговаривали. Она любила цветы, и траву, и деревья. Интересовалась всем на свете. Очень много знала и очень здраво рассуждала. Говорить могла о чем угодно. Иногда среди дня мы гуляли, а потом встречались в ночном клубе, ей довольно было выпить бокал-другой шампанского, и она уже в ударе, она душа общества, вокруг нее кипит веселье, а я поневоле думаю, как же все изумились бы,

если бы знали, какие серьезные разговоры мы с ней вели несколькими часами раньше. Поразительный контраст. Как будто в ней жили две совсем разные женщины.

Кэразерс сказал все это без улыбки. Он говорил печально, так, словно речь шла о ком-то, кого вырвала из дружеского круга безвременная смерть. Он глубоко вздохнул.

– Я был без памяти в нее влюблен. Раз шесть просил ее стать моей женой. Понимал, конечно, что надеяться нечего, ведь я был всего лишь мелким чиновником в министерстве иностранных дел, но не мог с собой совладать. Она мне отказывала, но при этом всегда была ужасно мила. И это ничуть не мешало нашей дружбе. Понимаете, она очень хорошо ко мне относилась. Я давал ей что-то, чего она не находила в других. Я всегда думал, что ко мне она привязана, как ни к кому другому. А я с ума по ней сходил.

– Полагаю, вы не единственный, – заметил я, надо ж было что-то сказать.

– Еще бы. Она получала десятки любовных писем от совершенно незнакомых людей, ей писали фермеры из Африки, рудокопы, полицейские из Канады. Кто только не предлагал ей руку и сердце! Она могла выбрать в мужа кого вздумается.

– По слухам, даже члена королевской семьи.

– Да, но она сказала, что такая жизнь не по ней. А потом вышла за Джимми Уэлдон-Бернса.

– Кажется, всех это порядком удивило?

– А вы его знали?

– Как будто нет. Может быть, и встречал, но он мне не запомнился.

– Он никому не мог запомниться. Совершеннейшее ничтожество. Отец его был крупный промышленник где-то на севере. Во время войны нажил кучу денег и приобрел титул баронета. По-моему, он даже говорить правильно не умел. Джимми учился со мной в Итоне, родные очень старались сделать из него джентльмена, и после войны он постоянно вращался в лондонском свете. Всегда готов был устроить роскошный прием. Никто не обращал на него внимания. Он только платил по счету. Отчаянно скучный и нудный тип. Такой, знаете, чопорный, до тошноты вежливый; с ним всегда было неловко, чувствовалось, до чего он боится совершить какой-нибудь промах. Костюм носил так, будто только что в первый раз надел и все ему немножко жмет.

Когда Кэразерс однажды утром, ничего не подозревая, раскрыл «Тайме» и, просматривая светские новости, наткнулся на сообщение о помолвке Элизабет, единственной дочери герцога Сент-Эрта, с Джеймсом, старшим сыном сэра Джона Уэлдон-Бернса, баронета, он был ошеломлен. Он позвонил Бетти и спросил, правда ли это.

– Конечно, – ответила она.

Потрясенный Кэразерс не находил слов. А Бетти продолжала:

– Он приведет к нам сегодня завтракать своих родных, познакомит их с папой. Смею сказать, предстоит суровое испытание. Можете пригласить меня в «Кларидж» и подкрепить мои силы коктейлем, хотите?

– В котором часу? – спросил Кэразерс.

– В час.

– Хорошо. Встречаемся там.

Он уже ждал, когда вошла Бетти. Вошла такой легкой, пружинистой походкой, будто ногам ее не терпелось понестись в танце. Она улыбалась. Глаза ее сияли, ее переполняла радость оттого, что она живет и жить в этом мире прекрасно. Едва она вошла, ее узнали, вокруг перешептывались. Кэразерсу почудилось, будто она внесла в невозмутимое, но несколько подавляющее великолепие гостиной «Клариджа» солнечный свет и аромат цветов. Он даже не поздоровался, сразу выпалил:

– Бетти, вы этого не сделаете. Это просто невозможно.

– Почему?

– Он ужасен.

– Не думаю. По-моему, он довольно милый.

Подошел официант и выслушал заказ. Бетти смотрела на Кэразерса, прекрасные синие

глаза ее умели смотреть сразу и так весело, и так ласково.

– Он вульгарнейший выскочка, Бетти.

– Не говорите глупостей, Хэмфри. Он ничуть не хуже других. По-моему, вы просто сноб.

– Он совершенный тупица.

– Нет, он просто тихий. Не уверена, что мне нужен чересчур блестящий супруг. По-моему, он будет для меня прекрасным фоном. Он очень недурен собой и мило держится.

– О господи, Бетти!

– Не валяйте дурака, Хэмфри.

– И вы станете уверять, что влюблены в него?

– Я думаю, это будет только тактично, вы не согласны?

– Чего ради вы за него выходите?

Она холодно посмотрела на Кэразерса.

– У него куча денег. И мне уже скоро двадцать шесть.

Больше говорить было не о чем. Кэразерс отвез Бетти в дом ее тетки. Свадьбу справили с большой пышностью, на тротуарах по дороге к церкви св. Маргариты в Вестминстере толпился народ, буквально все члены королевской семьи прислали подарки, медовый месяц молодые провели на яхте, которую предоставил им на это время свекор Бетти. Кэразерс попросил направить его служить за границу и послан был в Рим (я правильно угадал, именно там он в совершенстве овладел итальянским), а затем в Стокгольм. Здесь он получил пост советника и здесь написал первые свои рассказы.

Быть может, брак Бетти разочаровал британскую публику, которая ждала от своей любимицы большего, а быть может, просто в роли молодой жены она уже не волновала присущие этой публике романтические чувства; ясно одно: она быстро перестала привлекать всеобщее внимание. О ней почти уже не было слышно. Вскоре после свадьбы прошел слух, что она ждет ребенка, а потом – что ребенок родился мертвый. Она не перестала бывать в обществе, думаю, продолжала встречаться с друзьями, но больше не привлекала все взоры каждым своим шагом. И уж конечно ее теперь редко видели на беспорядочных сборищах, где полинявшие аристократы заводят дружбу с мелкой шушерой, трущейся около искусства, и тешат себя мыслью, будто они причастны сразу и высшему свету и высокой культуре. Говорили, что она остепенилась. Спрашивали себя, как она ладит с мужем, а раз задавшись этим вопросом, тотчас порешили, что не ладит. Вскоре стали сплетничать будто Джимми выпивает лишнее, года через два прошел слух, что у него открылся туберкулез. Чета Уэлдон-Бернс провела две зимы в Швейцарии. А потом стало известно, что они расстались и что Бетти поселилась на Родосе. Странное выбрала место.

– Там, наверно, скука смертная, – говорили ее друзья.

Теперь мало кто ее навещал, а возвратясь, рассказывали о красоте острова и очаровании неторопливо текущей там жизни. Но, конечно, там очень одиноко. Странно, что Бетти, такая блестящая, такая деятельная, довольна этой тихой пристанью. Она купила дом. У нее на Родосе только и знакомых что несколько итальянских чиновников, в сущности, там не с кем водить знакомство; но, похоже, она вполне счастлива. Посетители просто не могли этого понять. Однако жизнь в Лондоне хлопотлива, а человеческая память коротка. Люди перестали интересоваться беглянкой. Ее забыли. А потом, месяца за два до того, как я встретился в Риме с Хэмфри Кэразерсом, «Тайме» сообщила о смерти сэра Джеймса Уэлдон-Бернса, второго баронета. Титул унаследовал его младший брат. У Бетти ведь детей не было.

Кэразерс и после замужества Бетти продолжал с ней встречаться. Всякий раз, как он наезжал в Лондон, они вместе завтракали. Она умела с легкостью возобновлять дружеские отношения после долгой разлуки, словно никакого перерыва не было, так что при встрече они вовсе не чувствовали отчуждения. Бывало, она его спрашивала, когда же он женится.

– Вы ведь не становитесь моложе, Хэмфри. Если вы вскорости не женитесь, вы станете вроде старой девы.

– А вы сторонница брака?

Не очень великодушный вопрос, ведь он, как и все, слышал, что с мужем у нее нелады, но ее слова его уязвили.

– В общем, сторонница. Пожалуй, неудачный брак лучше, чем никакого.

– Вы прекрасно знаете, ничто на свете не заставит меня жениться, и знаете, почему.

– Ну, мой дорогой, не станете же вы уверять, будто до сих пор в меня влюблены?

– Да, влюблен.

– Вы просто дурень.

– Ну и пусть.

Бетти улыбнулась ему. Она смотрела и дразняще, и вместе ласково, от ее взгляда у него сладко щемило сердце. Забавно, он даже мог в точности показать, где щемит.

– Вы славный, Хэмфри. Сами знаете, я очень нежно к вам отношусь, но замуж я за вас не вышла бы, даже если б была свободна.

После того как она рассталась с мужем и уехала на Родос, Кэразерс с ней больше не виделся. Она ни разу не приезжала в Англию. Но они постоянно переписывались.

– Письма были удивительные, – сказал он. – Казалось, так и слышишь ее голос. Ее письма – в точности как она сама. Тут и ум и остроумие, непоследовательность и при этом редкое здравомыслие.

Он предложил на несколько дней приехать к ней на Родос, но она ответила – лучше не надо. Он понял, почему. Всем известно, что он был безумно в нее влюблен. Всем известно, что он и сейчас влюблен. Он не знал точно, при каких обстоятельствах распрощались супруги Уэлдон-Бернс. Возможно, они расстались врагами. Возможно, Бетти опасается, что его приезд бросит тень на ее доброе имя.

– Когда вышла моя первая книга, она мне написала прелестное письмо. Вы ведь знаете, эту книгу я посвятил ей. Ее удивило, что мои рассказы так хороши. Все приняли их очень мило, и она была от этого в восторге. А я, наверно, больше всего радовался ее радости. В конце концов, я ведь не профессиональный писатель, я не придаю большого значения литературному успеху.

Болван, подумал я, и враль. Неужели он воображает, будто я не замечал каким самодовольством преисполнен он был оттого, что его книги встречали благосклонный прием? За самодовольство я его не осуждаю, что может быть простительней, но чего ради так усердно это отрицать? А вот что он наслаждался известностью, которую принесли ему книги, главным образом из-за Бетти, это, несомненно, чистая правда. Он чего-то достиг, теперь ему было что ей предложить. Он мог принести к ее ногам не только свою любовь, но и громкое имя. Бетти уже не так молода, ей тридцать шесть; ее замужество, ее жизнь за границей многое изменили; она уже не окружена поклонниками; она утратила былой ореол всеобщего восхищения. Их больше не разделяет неодолимая пропасть. Он один столько лет оставался ей верен. Нелепо ей и дальше хоронить свою красоту, и ум, и светское обаяние на каком-то островке, затерянном в Средиземном море. И ведь она очень нежно относится к нему, Хэмфри Кэразерсу. Не может быть, чтобы ее не трогала его неизменная преданность. И жизнь, которую он теперь может ей предложить, наверняка для нее привлекательна. Он твердо решил, что снова попросит ее стать его женой. Он может освободиться в конце июля. И он написал ей, что намерен провести отпуск на греческих островах и, если она хочет его повидать, остановится на день-другой на Родосе, по слухам, итальянцы открыли там отличную гостиницу. Из деликатности он упомянул об этом словно бы между прочим. Дипломатическая служба научила его избегать прямолинейности. Никогда он по доброй воле не поставил бы себя в такое положение, из которого не мог бы тактично вывернуться. Бетти ответила ему телеграммой. Просто чудесно, что он приедет на Родос, писала она, и, конечно, он должен, по крайней мере, две недели погостить у нее, и пускай телеграфирует, с каким пароходом его встречать.

Когда корабль, на который он сел в Бриндизи, вскоре после восхода солнца вошел наконец в чистенькую, красивую гавань Родоса, Кэразерс был вне себя от волнения. В эту

ночь он не сомкнул глаз, вскочил спозаранку и смотрел, как величественно выступает остров из рассветной мглы и солнце восходит над теплым морем. Пароход стал на якорь, навстречу вышли лодки. Спустили трап. Опершись на поручни, Хэмфри смотрел, как поднимаются по трапу врач, портовые чиновники и орава посыльных из гостиницы. На борту он был единственный англичанин. Он сразу бросался в глаза. Какой-то человек, поднявшись на палубу, уверенно подошел к нему.

– Вы – мистер Кэразерс?

– Да.

Он хотел было улыбнуться и протянуть руку, но мгновенно заметил, что этот человек хотя тоже англичанин, однако не джентльмен. И, оставаясь в высшей степени учтивым, невольно стал чуточку суховат. Конечно, он мне этого не сказал, но вся сценка представляется мне очень ясно, и я могу уверенно ее описать.

– Ее милость надеется, вы не в обиде, что она сама вас не встретила, пароход-то прибывает рано, а до нашего дома больше часа езды.

– Ну, разумеется. Ее милость здорова?

– Да, спасибо. Ваши вещи сложены?

– Да.

– Вы мне покажите, где они, и я велю какому-нибудь малому перенести их в лодку. С таможенной у вас хлопот не будет. Я это уладил, и сразу поедем. Вы позавтракали?

– Да, благодарю вас.

По речи чувствовалось, что это человек не очень образованный. Кэразерсу неясно было, кто он такой. Не то чтобы он держался невежливо, но в его манере была некоторая бесцеремонность. Кэразерс знал, что у Бетти здесь солидное имение; возможно, это ее управляющий. Он, видимо, очень дельный. Отдавая распоряжения носильщикам, он свободно объяснялся по-гречески, а когда сели в лодку и гребцы попросили прибавки, он сказал что-то, отчего все засмеялись, пожали плечами и спорить не стали. Багаж Кэразерса на таможене не досматривали, его спутник обменялся с чиновниками рукопожатием, и оба вышли на залитую солнцем площадь, где стоял большой желтый автомобиль.

– Вы сами поведете машину? – спросил Кэразерс.

– Я шофер ее милости.

– А, вот как. Я не знал.

Он был одет не как шофер. Белые парусиновые брюки, сандалии на босу ногу, белая теннисная рубашка без галстука, с распахнутым воротом, и соломенная шляпа. Кэразерс нахмурился. Напрасно Бетти позволяет шоферу садиться за руль в таком виде. Правда, ему пришлось подняться до рассвета и, похоже, ехать до виллы будет жарко. Может быть, обычно он носит ливрею. Он не маленького роста, хоть и ниже Кэразерса – в том метр восемьдесят два, – но плечистый, крепко сбит и кажется коренастым. Не толстый, скорее упитанный; похоже, у него отличный аппетит и ест он в свое удовольствие. Еще молод, лет тридцать, тридцать один, но уже очень плотный и когда-нибудь станет просто тушей. А пока он отменный здоровяк. Широкое лицо покрыто темным загаром, вздернутый нос толстоват, выражение словно бы недовольное. Светлые усики. Странно, Кэразерсу показалось, будто когда-то он уже видел этого человека.

– Давно вы служите ее милости?

– Да, можно сказать, порядком.

Кэразерс нахмурился чуть сильнее. Ему не очень нравилось, как разговаривает этот шофер. И почему-то не обращается к нему «сэр». Пожалуй, Бетти дает ему слишком много воли. Очень на нее похоже – не держать прислугу в строгости. Но это большая ошибка. При случае надо будет ей намекнуть. Он встретился глазами с шофером – никаких сомнений, у того блеснула во взгляде веселая искорка. Непонятно почему. Кэразерс не представлял, что в нем может показаться забавным.

– Это, я полагаю, древний город крестоносцев, – сухо сказал он, указывая на зубчатые крепостные стены.

– Да. Ее милость вам покажет. В бойкое время у нас тут полно туристов.

Кэразерс хотел держаться приветливо. Он подумал, что можно, пожалуй, сесть рядом с шофером, а не отдельно позади, и уже собирался это предложить, но его не спросили. Шофер велел носильщикам сложить чемоданы Кэразерса на заднее сиденье и, усаживаясь за руль, сказал:

– Залезайте, поедem.

Кэразерс сел с ним рядом, и они покатили по белой дороге вдоль берега. Через несколько минут выехали из города. Ехали молча. Кэразерс держался с подчеркнутым достоинством. Он чувствовал, что шофер склонен к фамильярному обращению, и не желал дать для этого повод. Он льстил себя мыслью, что умеет заставить тех, кто ниже его, знать свое место. И втайне язвительно усмехнулся: не придется долго ждать, чтобы этот шофер начал величать его сэром. Но утро было чудесное; белая дорога бежала среди оливковых рощ, порой проезжали мимо крестьянских домиков с белыми стенами и плоскими крышами, это напоминало Восток, будоражило воображение. А впереди ждала Бетти. Кэразерс любил, а потому настроен был доброжелательно ко всем на свете и, закуривая, решил из великодушия предложить сигарету и шоферу. В конце концов, Англия очень далеко, они на Родосе, да и времена теперь демократические. Шофер взял сигарету и остановил машину, чтобы закурить.

– А табак вы захватили? – вдруг спросил он.

– Что захватил?

У шофера вытянулось лицо.

– Ее милость посылала вам телеграмму, просила захватить два фунта «Плейера». Я для того и уладил на таможне, чтоб ваш багаж не досматривали.

– Я не получал никакой телеграммы.

– Вот черт!

– Зачем, спрашивается, ее милости понадобился трубочный табак? – надменно спросил Кэразерс.

Ему не понравилось восклицание шофера. Тот искоса глянул на него, взгляд явно был дерзкий. Сказал коротко:

– Нам тут его не достать.

Он чуть ли не со злостью отшвырнул египетскую сигарету, которую дал ему Кэразерс, и опять повел машину. Лицо у него стало угрюмое. Больше он не сказал ни слова. Кэразерс решил, что напрасно пытался быть общительным. Остаток пути он не замечал шофера. Сидел с ледяным видом, который весьма успешно напускал на себя, когда какой-нибудь ничем не замечательный англичанин обращался к нему, секретарю британского посольства, за помощью. Некоторое время ехали в гору, и вот длинная невысокая ограда, распахнутые ворота. Шофер повернул в ворота.

– Уже приехали? – воскликнул Кэразерс.

– Шестьдесят пять километров за пятьдесят семь минут. – Шофер вдруг улыбнулся, у него оказались прекрасные белые зубы. – Неплохо по такой дороге.

Он пронзительно засигналил. Кэразерс задохнулся от волнения. По неширокой дороге через оливковую рощу подъехали к низкому, расплзшемуся вширь белому дому. В дверях стояла Бетти. Кэразерс выскочил из машины и расцеловал ее в обе щеки. С минуту он не в силах был заговорить. Но бессознательно отметил, что у входа вытянулись немолодой дворецкий в белых парусиновых брюках и два лакея в юбках – национальном греческом одеянии. Они выглядели щеголевато и живописно. Какую бы волю ни давала Бетти шоферу, в доме явно установлен был порядок, подобающий ее положению. Через прихожую просторную, с выбеленными известкой стенами и, как он смутно заметил на ходу, красиво обставленную – Бетти провела Кэразерса в гостиную. Здесь тоже было просторно, низкий потолок, так же выбелены стены, и Кэразерс тотчас ощутил сочетание роскоши и уюта.

– Прежде всего подойдите и полюбуйтесь, какой отсюда вид, – сказала Бетти.

– Прежде всего я должен полюбоваться вами.

Она была вся в белом. Руки, лицо и шея очень загорелые; глаза, кажется, еще синее

прежнего, и ослепительно белые зубы. Она замечательно выглядела. Элегантная, подтянутая. Волосы подвиты, ногти наманикюрены; а он было забеспокоился, вдруг при беззаботной жизни на этом романтическом острове она позволит себе распуститьсь.

– Честное слово, Бетти, вам не дашь больше восемнадцати. В чем тут секрет?

– В счастье, – улыбнулась Бетти.

Это больно кольнуло его. Он вовсе не жаждал увидеть ее очень уж счастливой. Он жаждал сам дать ей счастье. Но сейчас она непременно хотела вывести его на веранду. Туда вели из гостиной пять стеклянных дверей, и от веранды спускался к морю поросший оливами косогор. А у подножия холма виднелась крохотная бухточка, и там стоял на якоре, отражаясь в безмятежно спокойной воде, белый кораблик. За углом веранды, на холме подальше, белели домики греческого селения, а еще дальше вставал громадный серый утес, увенчанный зубчатыми стенами средневекового замка.

– Это одна из крепостей крестоносцев, – сказала Бетти. – Сегодня вечером я вас туда свезу.

Да, вид был прелести несказанной. Просто дух захватывало. Все так мирно и, однако, полно странной живости. Пробуждает не желание созерцать, но стремление действовать.

– Надеюсь, вы благополучно провезли табак.

Кэразерс вздрогнул от неожиданности.

– К сожалению, нет. Я не получил телеграмму.

– Но ведь я телеграфировала и в посольство, и в «Эксельсиор».

– А я останавливался в «Плазе».

– Какая досада! Альберт будет взбешен.

– Кто это Альберт?

– Он вас привез. Все другие сорта ему не нравятся, а «Плейер» здесь не достать.

– А, шофер. – Кэразерс показал на поблескивающий внизу белый кораблик. Это и есть яхта, про которую я слышал?

– Да.

Бетти купила когда-то большой каяк, велела поставить на нем добавочный мотор и принарядить. И странствовала на нем по греческим островам. К северу добиралась до самых Афин, к югу-до Александрии.

– Если у вас найдется время, мы вас покатаем, – сказала Бетти. – Раз уж вы здесь, вам надо повидать Кос.

– А кто управляет яхтой?

– У меня, конечно, есть гребцы, но яхту водит чаще всего Альберт. Он большой мастер по части моторов и всякой механики.

Кэразерс сам не знал, отчего ему стало как-то не по себе, когда она опять заговорила о шофере. Может быть, она чересчур полагается на этого Альберта. Большая ошибка – давать слуге слишком много воли.

– Знаете, мне почему-то кажется, что я уже где-то видел вашего шофера. Только не понимаю, где и когда.

Бетти весело улыбнулась, глаза блеснули так ей свойственным радостным оживлением, которое придавало выражению лица очаровательную непосредственность.

– Вы должны бы его помнить. Он был вторым лакеем в доме тети Луизы. Наверно, он тысячу раз отворял вам парадную дверь.

Тетя Луиза была та самая тетушка, у которой Бетти жила до замужества.

– Так вот он кто! Наверно, я его видел, но не замечал. А как он здесь очутился?

– Приехал из нашего английского имения. Когда я вышла замуж, он захотел служить у меня, и я его взяла. Одно время он был у Джимми камердинером, а потом я отправила его обучаться механике, он без ума от автомобилей, и, в конце концов, сделала его своим шофером. Не знаю, как бы я теперь без него обходилась.

– А вам не кажется, что это ошибка – слишком зависеть от слуги?

– Не знаю. Никогда об этом не задумывалась.

Бетти показала Кэразерсу приготовленные для него комнаты, он переоделся, и они пошли на берег. Там их ждала лодка, они переправились к яхте и с борта искупались. Вода была теплая, потом они полежали на палубе, позагорали. Яхта была просторная, удобная, роскошная. Бетти всю ее показала гостю, в машинном отделении они увидели Альберта. В замасленном комбинезоне он хлопотал у моторов, руки черные, лицо перепачкано смазкой.

– Что случилось, Альберт? – спросила Бетти.

Он встал, почтительно вытянулся перед ней.

– Ничего худого, миледи. Просто гляжу, что да как.

– У Альберта только две страсти в жизни. Одна – автомобиль, другая – эта яхта. Правда, Альберт?

Она весело улыбнулась шоферу, и его довольно невыразительное лицо просияло. Блеснули прекрасные белые зубы.

– Чистая правда, миледи.

– Знаете, он даже ночует на яхте. Мы устроили для него на корме очень миленькую каюту.

Кэразерс легко свыкся со здешней жизнью. Бетти купила это имение у некоего турецкого паши, сосланного на Родос султаном Абдул-Хамидом, и пристроила к живописному дому еще одно крыло. А окружающую дом оливковую рощу превратила в причудливый сад. Выращивала розмарин, лаванду и златоцветник, выписала из Англии ракитник, насадила розы, которыми славится Родос. Весной, сказала она Кэразерсу, здесь сплошным ковром цветут анемоны. Она показывала свои владения, делилась планами и задуманными нововведениями, а ему все время было не по себе.

– Вы говорите так, будто собираетесь остаться здесь на всю жизнь, – сказал он.

– Очень возможно, – с улыбкой ответила Бетти.

– Что за вздор! В ваши-то годы!

– Мне уже под сорок, милый друг, – беспечно ответила она.

К удовольствию Кэразерса, оказалось, что повар у Бетти отменный, и приятно было по всем правилам приличия обедать с нею в великолепной столовой, мебель итальянской работы радовала глаз, за столом прислуживали греки – величественный дворецкий и два красивых, живописно одетых лакея. Дом обставлен был с большим вкусом; в комнатах ничего лишнего, но каждая вещь превосходна. Бетти жила на широкую ногу. На завтра после приезда Кэразерса к обеду явился губернатор острова с несколькими подчиненными, и тут она показала свое хозяйство во всем блеске. Губернатор вступил в дом между двумя рядами ливрейных лакеев, блистательных в своих накрахмаленных юбках, расшитых куртках и бархатных фесках. Чуть ли не почетный караул. Кэразерсу эта пышность была по вкусу. Обед проходил очень весело. Бетти свободно болтала по-итальянски, Кэразерс говорил безупречно. Молодые офицеры из свиты губернатора выглядели в своей форме заправскими франтами. Они были необычайно внимательны к Бетти, она отвечала им дружеской непринужденностью. И слегка поддразнивала. После обеда завели граммофон, и она по очереди с ними танцевала.

Когда гости отбыли, Кэразерс спросил:

– Видно, все они в вас безумно влюблены?

– Не знаю. Иногда мне намекают, что неплохо бы заключить союз, постоянный или не очень, но ничуть не обижаются, когда я с благодарностью отвергаю предложение.

Все это несерьезно. Молодые поклонники слишком зелены, а те, что постарше, толстые и лысые. Какие там чувства они ни питали к Бетти, Кэразерс ни минуты не верил, что она поставит себя в дурацкое положение ради какого-нибудь неродовитого итальянца. Но дня через два случилось нечто странное. Он был у себя, переодевался к обеду; за дверью в коридоре послышался мужской голос, Кэразерс не разобрал, что было сказано и на каком языке, но вдруг раздался смех Бетти. Она чудесно смеялась, звонко, весело, как девчонка, так радостно, беззаботно, так заразительно. Но с кем же это она? Разговаривая со слугами, так не смеются. Как-то очень интимно звучал этот смех. Может показаться странным, что Кэразерс

разобрал все это во взрыве смеха, но не следует забывать, что он человек весьма проницательный. Его рассказы отличаются как раз такими штришками.

Через несколько минут они встретились на веранде, и, смешивая коктейль, он попробовал удовлетворить свое любопытство.

— Над чем это вы сейчас так хохотали? У вас кто-то был?

Бетти посмотрела на него с неподдельным удивлением.

— Нет.

— Я думал, вас навестил кто-то из ваших молодых итальянских офицеров.

— Нет.

Конечно, годы не прошли для Бетти бесследно. Она была красива, но красотой зрелой женщины. Она всегда держалась уверенно, теперь в ней появилось спокойствие; безмятежность стала такой же неотъемлемой частью ее красоты, как синие глаза и чистый лоб. Казалось, она живет в мире с целым светом; рядом с нею можно было отдохнуть душой, как отдыхаешь, лежа среди олив и глядя на море цвета темного вина. Хотя она по-прежнему была весела и остроумна, теперь очевидна стала и присущая ей серьезность, о которой когда-то никто, кроме Кэразерса, не подозревал. Никто уже не мог бы упрекнуть ее в ветрености; невозможно было не заметить, что это натура утонченная. Вернее даже сказать, благородная. Черта редкая в современной женщине, и Кэразерс подумал, что это какой-то атавизм; Бетти ему напоминала знатных дам восемнадцатого века. Она всегда обладала чувством слова, в юности писала изящные, музыкальные стихи, и когда она сказала, что взялась за солидный исторический роман, Кэразерс принял это не столько с удивлением, сколько с любопытством. Она собирала материалы о пребывании на Родосе воинов св. Иоанна. Тут столько романтических приключений. Бетти повезла Кэразерса в город, показала ему величавые крепостные стены, вдвоем они бродили среди гордых, суровых зданий. Прошли по безмолвной улице Крестоносцев, где прелестные каменные фасады и надменные гербы внятно говорили об ушедшем в прошлое рыцарстве. Тут Бетти его удивила. Оказалось, она купила один из старых домов и заботливо восстановила его былой величественный облик. Войдя в тесный внутренний дворик с высеченной в камне лестницей, посетитель попадал в далекое средневековье. В крохотном садике, обнесенном каменной оградой, росли розы и среди них смоковница. Дом был невелик, таинствен и тих. Рыцари в старину достаточно долго соприкасались с Востоком, чтобы перенять восточные понятия об уединенности.

— Когда мне надоедает на вилле, я на два-три дня приезжаю сюда и устраиваю себе праздник. Иногда приятно отдохнуть от многолюдья.

— Но не одна же вы здесь остаетесь?

— В сущности, одна.

Они вошли в маленькую, строго обставленную гостиную.

— А это что такое? — с улыбкой спросил Кэразерс, увидев на столе спортивное приложение к «Тайме».

— А, это газета Альберта. Наверно, он оставил ее здесь, когда поехал вас встречать. Он каждую неделю получает ее и еще «Всемирный вестник». Тем самым он в курсе всего, что делается на белом свете.

Она снисходительно улыбнулась. Рядом с гостиной находилась спальня, почти пустая, только с широчайшей кроватью.

— Дом раньше принадлежал англичанину, отчасти поэтому я его и купила. Это некий сэр Джайлз Керн, а один из моих предков был женат на Мэри Керн, сэр Джайлз с нею в родстве. Их род из Корнуолла.

Обнаружив, что работать дальше над историческим сочинением не удастся, не овладев латынью настолько, чтобы легко читать средневековые материалы, Бетти принялась изучать этот классический язык. Она дала себе труд лишь познакомиться с основами грамматики, а затем, положив рядом перевод, стала читать интересующих ее авторов. Это прекрасный способ изучать язык, и я часто удивлялся, почему его не применяют в школе. Он избавляет от

необходимости то и дело рыться в словарях и кропотливо подыскивать нужное значение. Спустя девять месяцев Бетти читала по-латыни так же свободно, как большинство из нас читает по-французски. Кэразерс немножко позабавило, что прелестная, блестящая женщина так серьезно относится к своей работе, и, однако, он был тронут; в ту минуту ему хотелось схватить ее в объятия и расцеловать не как женщину, но как смышленного не по годам ребенка, чьим умом вдруг поневоле восхитишься. Но потом он призадумался над услышанным. Он и сам, конечно, очень умен, иначе не достиг бы высокого положения в министерстве иностранных дел, и глупо было бы утверждать, будто две его книги наделали столько шуму, не обладая никакими достоинствами; если я выставил его отчасти дураком, так просто потому, что не люблю его, а если высмеял его рассказы, так потому только, что рассказы в этом духе, на мой взгляд, глуповаты. У него хватало такта и проницательности. Он убежден был, что покорить Бетти можно лишь одним способом. Она вошла в какую-то колею и счастлива, ее планы на будущее ясны и определены; но как раз потому, что ее жизнь на Родосе такая налаженная, такая упорядоченная и приятная, привычку к ней можно побороть. Вся надежда на то, чтобы пробудить в Бетти беспокойство, таящееся в душе каждого англичанина. И Кэразерс стал говорить с нею об Англии, Лондоне, общих знакомых, о художниках, писателях и музыкантах, с которыми познакомился благодаря своим литературным успехам. Говорил о сборищах светской богемы в Челси и об опере, о том, как *en bande*¹ ездили в Париж на костюмированный бал, а в Берлин на театральные премьеры. Он воскрешал в ее воображении мир яркий, беззаботный, изменчивый, богатый пищей для ума, всеми дарами культуры и цивилизации. Пусть она почувствует, что здесь, в глуши, ее засасывает, как в болоте. Жизнь мчится вперед, от новизны к новизне, а она застряла на месте. Наш век необыкновенный, волнующий, а она все на свете упускает. Разумеется, он не сказал этого напрямик; пусть сама делает выводы. Он говорил увлекательно и вдохновенно, у него была отличная память на хорошие анекдоты, он был забавен и весел. Я знаю, в моем описании Хэмфри Кэразерс вовсе не выглядит умным человеком, а леди Бетти блистательной женщиной. Придется читателю поверить мне на слово. Все признавали, что Кэразерс интересный собеседник, а это уже наполовину обеспечивает победу; от него неизменно ждали остроумия и клятвенно уверяли, что каждое его слово чудо как забавно. Разумеется, это – истинно светское остроумие. Тут требуются слушатели, которые понимают любой намек и обладают тем же совсем особым чувством юмора. На Флит-стрит найдется десятка два газетчиков, за которыми не угнаться самому прославленному светскому остряку: быть блестящими и остроумными изо дня в день их обязывает профессия. Мало кого из светских красавиц, чьими фотографиями пестрят газеты, взяли бы в мюзик-холл петь и плясать за три фунта в неделю. К любителям надо иметь снисхождение. Кэразерс знал, что Бетти приятно в его обществе. Они много смеялись. Дни летели незаметно.

– Мне будет ужасно не хватать вас, когда вы уедете, – с обычным прямодушием сказала она. – Просто праздник, что вы у меня погостили. Вы прелесть, Хэмфри.

– А вы только сейчас это заметили?

Он мысленно похвалил себя. Тактика выбрана правильно. Даже интересно, как удался его нехитрый план. Точно колдовство. Пусть профаны насмеются над дипломатами, но, без сомнения, дипломатическая служба учит обращаться с неподатливыми людьми. Теперь только надо выбрать удобную минуту. Он чувствовал, что никогда Бетти не относилась к нему нежнее. Надо выждать до самого отъезда. Бетти так живо все чувствует. Ей будет жаль с ним расставаться. Без него Родос покажется очень унылым. С кем ей поговорить, когда он уедет? После обеда они обычно сидят на веранде и любуются морем, в котором отражаются звезды; воздух теплый, благоуханный, в нем смутно улавливаешь и аромат ее духов; вот в такой час, накануне отъезда, он и попросит ее стать его женой. Всем существом он чувствовал, что она согласится.

Однажды утром, когда он пробыл на Родосе немногим больше недели, Кэразерс поднялся на второй этаж и в коридоре встретил Бетти.

¹ Всей компанией (фр.).

– Вы мне еще не показывали свою комнату, Бетти, – сказал он.

– Разве? Что ж, зайдите посмотрите. Она довольно славная.

Бетти повернулась, и он вошел за нею следом. Ее комната, расположенная над гостиной, была почти так же просторна. Обставлена она была в итальянском стиле и, как это принято по новой моде, походила скорее не на спальню, а на небольшую гостиную. По стенам прекрасные полотна Панини (Панини Джованни-Паоло – итальянский живописец середины XVIII века – прим. автора), два красивых шкафчика. Кровать венецианская, чудесно раскрашенная.

– Внушительных размеров ложе для вдовствующей дамы, – пошутил Кэразерс.

– Громадина, да? Но прелесть. Я не могла ее не купить. Она стоила безумных денег.

Взгляд Кэразерса упал на столик подле кровати. На столике лежали две-три книги, пачка сигарет и на пепельнице вересковая трубка. Странно! Для чего Бетти возле постели курительная трубка?

– Посмотрите-ка на этот cassone.¹ Правда, чудесная роспись? Я чуть не закричала от радости, когда на него наткнулась.

– Наверно, он тоже стоил безумных денег.

– Даже не решаюсь вам сказать, сколько я за него заплатила.

Когда они выходили из комнаты, Кэразерс опять бросил беглый взгляд на столик. Трубка исчезла.

Странно, зачем Бетти в спальне трубка, уж наверно сама она трубку не курит, а если бы курила, не стала бы это скрывать, но, конечно, тут может найтись десяток разумных объяснений. Возможно, это приготовленный кому-то подарок – одному из знакомых итальянцев или даже Альберту. Кэразерс не разглядел, обкуренная трубка или новая, а может быть, это образчик, который она попросит его взять с собой в Англию, чтобы он прислал еще такие же. С минуту Кэразерс недоумевал и, пожалуй, немножко забавлялся этим пустяковым случаем, а потом выбросил его из головы. В тот день они думали поехать на дальнюю прогулку, взяв с собой поехать, вести машину Бетти собиралась сама. Перед отъездом Кэразерса предполагалось двухдневное плавание, чтобы он повидал Патмос и Кос, и Альберт готовил яхту, возился с моторами. День выдался на славу. Бетти с Кэразерсом побывали на развалинах старинного замка, взобрались на гору, поросшую златоцветником, гиацинтами и нарциссами, и вернулись смертельно усталые. Почти сразу после ужина они разошлись, и Кэразерс лег в постель. Почитав немного, он погасил свет. Но сон не шел. Под москитной сеткой было жарко. Он ворочался с боку на бок. Потом подумал, что хорошо бы пойти к бухточке у подножия холма и искупаться. До нее каких-нибудь три минуты ходу. Он надел сандалии, захватил полотенце. Светила полная луна, и за ветвями олив блеснула на море лунная дорожка. Но, оказалось, он не один догадался, что в такую лучезарную ночь приятно искупаться: он уже хотел выйти из-под олив на берег, как вдруг слышал чье-то присутствие. И вполголоса выбранился – досадно, кто-то из слуг Бетти купается, не очень-то удобно им помешать. Деревья подступали чуть не к самой воде, он нерешительно помедлил в их тени. И вздрогнул, неожиданно услышав слова:

– Где мое полотенце?

Говорили по-английски. Из воды вышла женщина, остановилась у песчаной кромки. Навстречу из темноты вышел обнаженный мужчина, только полотенце обернуто вокруг бедер. Эта женщина – Бетти. Совершенно нагая. Мужчина накинул на нее купальный халат и принялся растирать ее. Она оперлась на него, вытянула сначала одну ногу, потом другую, и он, поддерживая, обнял ее за плечи. Это был Альберт.

Кэразерс повернулся и кинулся бежать в гору. Бежал вслепую, спотыкался. Один раз чуть не упал. Задыхался, точно раненый зверь. У себя в комнате бросился на кровать, сжал кулаки, и сухие мучительные всхлипывания, раздиравшие ему грудь, наконец вылились слезами. Как видно, разразилась самая настоящая истерика. Все стало ясно ему, все предстало с той ужасающей яркостью, с какой в бурную ночь молния обнажает

¹ Ларь (ит.).

изуродованную безжизненную пустошь, отвратительно, безжалостно ясно. По тому, как Альберт вытирал ее и как она оперлась на его плечо, нельзя не понять – это не страсть, а давняя, привычная близость, и та трубка на ночном столике – знак мерзостного супружества. Так человек курит трубку, читая перед сном в постели. Спортивное приложение к «Тайме»! Вот для чего ей тот домик на улице Крестоносцев – чтобы они могли проводить там два-три дня по-семейному, наедине. Глядя на них, подумаешь, что они давным-давно женаты. Хэмфри спросил себя, сколько могла продолжаться эта гнусность, и внезапно понял: многие годы. Десять, двенадцать, четырнадцать лет: это началось, когда молодой лакей только-только приехал в Лондон, он был тогда совсем мальчишкой, и, несомненно, не он сделал первый шаг; все те годы, когда она была кумиром британской публики, когда все обожали ее и она могла выйти замуж за кого пожелает, она была любовницей второго лакея в доме своей тетки. Она взяла его с собой, когда вышла замуж. Почему она решилась на тот странный брак? И раньше времени родился мертвый ребенок. Конечно, поэтому она и вышла за Уэлдон-Бернса, потому что должна была родить ребенка от Альберта. Бесстыжая, бесстыжая! А потом, когда Джимми заболел, она заставила его взять Альберта в камердинеры. Что знал Джимми, что он подозревал? Он пил, с этого у него и начался туберкулез; но отчего он начал пить? Быть может, чтобы заглушить подозрение, столь гнусное, что он даже думать о нем был не в силах. И ради того, чтоб жить с Альбертом, она оставила Джимми, ради того, чтоб жить с Альбертом, поселилась на Родосе. С Альбертом, у которого обломанные ногти и руки не отмываются от машинного масла, корявым, коренастым, который красным лицом и неуклюжей силой напоминает мясника, с Альбертом, который даже и не молод уже, и толстеет, необразован, вульгарен, говорит, как настоящий простолудин. С Альбертом, с Альбертом – как она могла?

Кэразерс поднялся, выпил воды. Бросился в кресло. О постели даже думать было невыносимо. Он курил сигарету за сигаретой. Утро он встретил совсем разбитый. За всю ночь он ни на минуту не уснул. Ему принесли завтрак; он только выпил кофе, кусок не шел в горло. Вскоре раздался быстрый стук в дверь.

– Пойдемте к морю, Хэмфри, искупаемся?

От этого веселого голоса его бросило в жар. Он собрался с духом и открыл дверь.

– Пожалуй, сегодня не пойду. Мне нездоровится.

Бетти посмотрела на него.

– Дорогой мой, у вас совсем больной вид! Что это с вами?

– Не знаю. Наверно, вчера солнцем напекло.

Голос его звучал безжизненно, глаза были трагические. Она всмотрелась внимательней. Помолчала минуту. И, кажется, побледнела. Он знает! Потом во взгляде ее мелькнула смешливая искорка, все это показалось ей забавным.

– Беденький, подите лягте, я пришлю вам аспирин. Может быть, ко второму завтраку вам станет лучше.

Он лежал у себя в полутемной комнате с завешенными окнами. Чего бы он ни отдал, лишь бы убраться отсюда и никогда больше не видеть Бетти, но невозможно, пароход которым он должен вернуться в Бриндизи, прибывает на Родос почти через неделю. Он тут пленник. А завтра предстоит плаванье к островам. На яхте от Бетти совсем никуда не денешься, им придется с утра до ночи мозолить глаза друг другу. Немыслимо. Он сгорает со стыда. А ей ничуть не стыдно. В ту минуту, когда она поняла, что секрет раскрыт, она улыбнулась. С нее станется все ему рассказать. Невыносимо. Это уж слишком. В конце концов, не может она быть уверена, что он знает, в лучшем случае она только могла это заподозрить; если вести себя как ни в чем не бывало, если во время завтрака и в оставшиеся дни держаться по-прежнему весело и оживленно, она подумает, что ошиблась. Довольно и того, что он все знает, выслушать вдобавок всю мерзкую историю от нее самой свыше его сил, не желает он такого унижения. Но за завтраком первые слова Бетти были:

– Ужасная досада, Альберт говорит, что-то не в порядке с мотором, нам не удастся выйти на яхте. На паруса я в это время года не надеюсь. Штиль может тянуться неделю.

Она говорила самым легким тоном, и Кэразерс ответил так же небрежно:

– Что ж, признаться, в сущности, я не слишком огорчен. Здесь очень мило, и меня, в сущности, не так уж привлекало это плавание.

Он сказал, что аспирин помог и он чувствует себя лучше; греку-дворецкому и двум лакеям в юбочках должно было казаться, будто гость и хозяйка беседуют так же оживленно, как всегда. В тот вечер к обеду явился британский консул, на завтра – какие-то итальянские офицеры. Кэразерс считал дни, считал часы. Ох, скорей бы ступить на палубу корабля, избавиться от этого ужаса, терзающего ежеминутно, с утра до ночи! Он безмерно устал. Но Бетти держалась так уверенно, что порой он спрашивал себя, подлинно ли она догадалась, что ему известна ее тайна. Правду она ему сказала, будто яхта не в порядке, или, как однажды пришло ему в голову, это был только предлог? И просто ли совпадение, что все время являются какие-то посетители и он с Бетти теперь совсем не бывает только вдвоем. Беда, когда ты слишком тактичен, невозможно понять, естественно ведут себя окружающие или просто у них тоже развито чувство такта. Бетти такая спокойная, держится так непринужденно, так явно счастлива, глядя на нее, невозможно поверить в мерзкую истину. Но ведь он все видел собственными глазами. А что дальше? Что ее ждет впереди? Подумать страшно. Рано или поздно правда выйдет наружу. Подумать только, Бетти – всеобщее посмешище, отверженная, во власти грубого мужлана, стареющая, утратившая свою красоту; и ведь этот шофер на пять лет ее моложе. В один прекрасный день он заведет любовницу, пожалуй, одну из ее же горничных, с которой ему будет легко и просто, как никогда не было со знатной дамой, и что ей тогда делать? К чему она должна подготовиться, с каким унижением мириться! Возможно, он станет обращаться с ней жестоко. Возможно, станет бить ее. Ох, Бетти, Бетти.

Кэразерс ломал руки. И вдруг его осенила мысль, пронзившая мучительным восторгом; он отогнал ее, но она вернулась; он не мог от нее отделаться. Надо спасти Бетти, слишком сильно и слишком долго он ее любил, чтобы дать ей погибнуть, погибнуть вот так, как гибнет она; его захлестнула страстная жажда самопожертвования. Наперекор всему, хотя любовь его умерла и он испытывает к Бетти чуть ли не физическое отвращение, он на ней женится. Он невесело засмеялся. Во что превратится его жизнь? Но ничего не поделаешь. О себе думать нечего. Это единственный выход. Его охватил необычайный восторг и в то же время смирение, он ощутил благоговейный трепет при мысли о высотах, которых способен достичь божественный дух, заключенный в человеке.

Пароход отчаливал в субботу, и в четверг, когда уехали после обеда гости, Кэразерс сказал:

– Надеюсь, завтра вечером мы будем одни.

– Вообще-то на завтра я пригласила одну египетскую семью, они проводят здесь лето. Она – сестра бывшего хедива,¹ очень умная женщина. Я уверена, вам она понравится.

– Но ведь завтра мой последний вечер. Разве мы не можем побыть одни?

Бетти кинула на него быстрый взгляд. Ее глаза смеялись, но он смотрел серьезно.

– Как хотите. Могу условиться с ними на другой день.

– Да, пожалуйста.

Назавтра Кэразерсу предстояло выехать спозаранку, вещи его были уже уложены. Бетти сказала, что ему незачем переодеваться к столу, но он возразил, что предпочитает одеться, как подобает. В последний раз они сидели за обедом друг против друга. Столовая с приглушенным абажурами освещением была пустынна и чопорна, но в огромные распахнутые окна вливался летний вечер и придавал всему какую-то ненавязчивую роскошь. Словно это особая трапезная в монастыре, куда удалилась вдовствующая королева, дабы провести остаток дней своих во благочестии, но без чрезмерной строгости. Кофе пили на веранде. Кэразерс выпил рюмочку-другую ликера. Он изрядно нервничал...

– Бетти, дорогая, я должен вам кое-что сказать, – начал он.

¹ Хедив – титул вице-короля Египта, наместника турецкого султана в период зависимости Египта от Турции (1867 1914) – прим. ред.

– Вот как? На вашем месте я ничего не стала бы говорить.

Она сказала это мягко. Она сохраняла полное спокойствие, зорко следила за ним, но в синих глазах ее поблескивала усмешка.

– Я не могу иначе.

Она пожала плечами и промолчала. Кэразерс почувствовал, что голос его немного дрожит, и обозлился на себя.

– Вы знаете, что многие годы я был безумно в вас влюблен. Даже не знаю, сколько раз я просил вас стать моей женой. Но, в конце концов, все на свете меняется, и люди тоже меняются, не так ли? Мы с вами уже немолоды. Теперь вы согласитесь выйти за меня, Бетти?

Она улыбнулась ему своей бесконечно обаятельной улыбкой – такой доброй, такой открытой и все еще, все еще такой поразительно невинной.

– Вы прелесть, Хэмфри. Ужасно мило с вашей стороны опять сделать мне предложение. Я очень, очень тронута. Но, знаете, я верна своим привычкам, я привыкла вам отказывать и не могу изменить этой привычке.

– Почему?

Это прозвучало у него воинственно, почти зловеще, так что Бетти вскинула на него глаза. Она вдруг побледнела от гнева, но тотчас овладела собой.

– Потому что не хочу, – с улыбкой сказала она.

– Вы намерены выйти за кого-то еще?

– Я? Нет. Конечно, нет.

Она надменно выпрямилась, словно на миг в ней разыгралась гордость, унаследованная от предков, и вдруг рассмеялась. Но только она одна могла бы сказать, позабавило ее чем-то предложение Хэмфри или насмешила какая-то мимолетная мысль.

– Бетти, умоляю вас, будьте моей женой.

– Ни за что.

– Вам нельзя дальше так жить.

Он произнес это со всей силой душевной муки, лицо его страдальчески исказилось. Бетти ласково улыбнулась.

– Почему нет? Не будьте ослом, Хэмфри. Я вас обожаю, но все-таки вы старая баба.

– Бетти. Бетти.

Неужели она не понимает, что он хочет этого ради нее? Не любовь заставила его заговорить, но истинно человеческая жалость и стыд. Она встала.

– Не будьте таким надоедой, Хэмфри. Идите-ка спать, вам ведь надо подняться ни свет ни заря. Утром мы не увидимся. Прощайте, всех вам благ. Просто чудесно, что вы меня навестили.

Она расцеловала его в обе щеки.

Назавтра, когда Кэразерс спозаранку вышел из дому – в восемь ему надо было быть уже на пароходе, – его ждал Альберт с машиной. На нем были парусиновые брюки, трикотажная нижняя рубашка и берет, какие носят баски. Чемоданы лежали на заднем сиденье. Кэразерс повернулся к дворецкому.

– Положите мои вещи рядом с шофером, – сказал он. – Я сяду сзади.

Альберт промолчал. Кэразерс сел, и машина тронулась. Когда приехали в порт, к ним подбежали носильщики. Альберт вышел из машины. Кэразерс посмотрел на него с высоты своего роста.

– Вам незачем провожать меня на борт. Я прекрасно справлюсь сам. Вот ваши чаевые.

И он протянул бумажку в пять фунтов. Альберт густо покраснел. Застигнутый врасплох, он бы рад был отказаться, да не знал, как это сделать, и сказала многолетняя привычка к подбострастию. Может быть, он и сам не знал, как у него вырвалось:

– Благодарю вас, сэр.

Кэразерс сухо кивнул ему и пошел прочь. Он заставил любовника Бетти сказать ему «сэр». Как будто ударил ее с размаху по смеющимся губам и швырнул в лицо позорное слово. И это наполнило его горьким удовлетворением.

Он пожал плечами, и я видел – даже эта маленькая победа теперь его не утешает. Некоторое время мы молчали. Мне сказать было нечего. Потом Кэразерс снова заговорил:

– Понимаю, вам очень странно, что я вам все это рассказал. Пусть так. Знаете, мне уже все безразлично. Чувство такое, как будто в мире не осталось никакой порядочности. Бог свидетель, я не ревную. Нельзя ревновать не любя, а любовь моя умерла. Она была убита мгновенно. После стольких лет. Я не могу без ужаса думать об этой женщине. Я погибаю, я безмерно несчастен от одной мысли о том, как низко она пала.

Что ж, говорилось же, будто не ревность заставила Отелло убить Дездемону, а страдание от того, что та, кого он считал ангельски непорочной, оказалась нечистой и недостойной. Благородное сердце его разбилось оттого, что добродетель способна пасть.

– Я думал, ей нет равных. Я так ею восхищался. Я восхищался ее мужеством и прямоотой, ее умом и любовью к красоте. А она просто притворщица и всегда была притворщицей.

– Ну, не знаю, верно ли это. По-вашему, все мы такие цельные натуры? Знаете, что мне пришло в голову? Пожалуй, этот Альберт для нее – только орудие, так сказать, дань прозе жизни, почва под ногами, позволяющая душе воспарить в эмпиреи. Возможно, как раз потому, что он настолько ниже ее, с ним она чувствует себя свободной, как никогда не была бы свободна с человеком своего класса. Дух человеческий причудлив, всего выше он возносится после того, как плоть вываливается в грязи.

– Не говорите чепуху, – в сердцах возразил Кэразерс.

– По-моему, это не чепуха. Может быть, я не очень удачно выразился, но мысль вполне здравая.

– Много мне от этого пользы. Я сломлен, разбит. Я конченный человек.

– Что за вздор. Возьмите и напишите об этом рассказ.

– Я?

– Вы же знаете, какое огромное преимущество у писателя над прочими людьми. Когда он отчего-нибудь глубоко несчастен и терзается и мучается, он может все выложить на бумагу, удивительно, какое это дает облегчение и утешение.

– Это было бы чудовищно. Бетти была для меня всем на свете. Не могу я поступить так по-хамски.

Он немного помолчал, я видел – он раздумывает. Я видел, наперекор ужасу, в который привел его мой совет, он с минуту рассматривал все происшедшее с точки зрения писателя. Потом покачал головой.

– Не ради нее, ради себя. В конце концов, есть же у меня чувство собственного достоинства. И потом, тут нет материала для рассказа.

Джейн (пер. Н. Галь)

Хорошо помню, при каких обстоятельствах я впервые увидел Джейн Фаулер. Только потому, что подробности той мимолетной встречи и сейчас так ярки, я и решаюсь положиться на свою память, иначе, признаюсь, трудно было бы поверить, что она не сыграла со мной злую шутку. Незадолго до того я возвратился в Лондон из Китая, и меня позвала на чашку чаю миссис Тауэр. Перед тем на миссис Тауэр напала страсть к перемене декораций – и с чисто женской беспощадностью она пожертвовала креслами, в которых многие годы так удобно располагалась, столами, шкафчиками, безделушками, на которых отдыхал ее глаз со времен замужества, картинами, привычными за жизнь целого поколения, и предалась в руки специалиста. В гостиной у нее не осталось ни единой вещицы, которая о чем-то ей напоминала бы или почему-то была дорога ее сердцу; и в тот день она пригласила меня полюбоваться модной роскошью, в какой ныне пребывала. Все, что только можно покрыть морилкой, было мореное, что морилке не поддается – раскрашено. Все вещи оказались разностильные, но друг с другом прекрасно сочетались.

– Помните, какой у меня прежде тут был нелепый гарнитур? – спросила миссис Тауэр.

Сейчас занавеси были великолепные, но строгие, диван крыт итальянской парчой, обивка кресла, в котором я сидел, расшита крестом. Гостиная красива, роскошна без крикливости, оригинальна без вычурности, и однако мне здесь чего-то не хватало; вслух я ее похвалил, а мысленно спросил себя, отчего мне куда приятней был довольно потертый ситец того высмеянного хозяйкой гарнитура, акварели викторианской эпохи, которые столько лет были мне знакомы, и нелепые фигурки дрезденского фарфора, что украшали прежде каминную полку. Чего же мне, спрашивается, недостает в этих комнатах, преображенных весьма полезным мастерством декораторов, подумал я. Может быть, души? Но миссис Тауэр обвела все вокруг довольным взглядом.

– Как вам нравятся мои алебастровые лампы? – спросила она. – От них такой мягкий свет.

– Признаться, я люблю освещение, при котором что-то видно, – улыбнулся я.

– Это так трудно сочетать с освещением, при котором не слишком хорошо видно хозяйку, – засмеялась миссис Тауэр.

Я понятия не имел, сколько ей лет. Когда я был совсем молод, она была уже замужем и много старше меня, но теперь обходилась со мной, как со сверстником. Она всегда повторяла, что не делает секрета из своего возраста – ей сорок, – и прибавляла с улыбкой, что все женщины себе пять лет убавляют. Она не пыталась скрыть, что красит волосы (очень приятного каштанового цвета, чуть отливающего медью), – красит потому, поясняя она, что волосы отвратительны, пока седеют, а когда сделаются совсем белые, она их красить перестанет.

– Тогда все начнут говорить, какое у меня молодое лицо.

А пока что она и лицо подкрашивала, хотя и очень осторожно, и ее глаза были так хороши в значительной мере по милости искусства. Она была красивая женщина, изысканно одевалась и в приглушенном алебастровыми лампами свете выглядела ни на день не старше тех сорока, которые сама себе давала.

– Выдержать ничем не прикрытый блеск электрической лампочки в тридцать две свечи я могу только за своим туалетным столиком, – прибавила она с насмешливой прямоотой. – Там он нужен, чтобы сперва сказать мне гнусную правду, а потом помочь ее исправить.

Мы премило посплетничали об общих знакомых, и миссис Тауэр сообщила мне о новейших скандальных событиях. После скитаний в дальних краях очень приятно было сидеть в удобном кресле перед пылающим камином, у прелестного столика с прелестным чайным сервизом, и разговаривать с привлекательной, интересной собеседницей. Она обращалась со мной, как с блудным сыном, вернувшимся после многих походов, и намерена была окружить меня вниманием. Она очень гордилась своими зваными обедами и гостей, гармонирующих друг с другом, подбирала с не меньшим тщанием, чем превосходное меню; едва ли не всякий приглашенный на один из таких вечеров радовался ему, как празднику. Вот и сейчас она назначила день и спросила, с кем я хотел бы встретиться.

– Только об одном должна вас предупредить. Если Джейн Фаулер будет еще в Лондоне, мне придется вечер отложить.

– А кто такая Джейн Фаулер? – спросил я. Миссис Тауэр хмуро улыбнулась.

– Джейн Фаулер – мой тяжкий крест.

– Вот как!

– Помните, пока я не обставила все заново, у меня в комнате на фортепьяно стояла фотография – женщина в узком платье с узкими рукавами и золотым медальоном, волосы зачесаны назад, весь лоб открыт и видны уши, довольно курносая и па носу очки? Так вот, это и есть Джейн Фаулер.

– В те стародавние времена у вас в комнате было столько фотографий, – неопределенно сказал я.

– Как вспомню о них, меня дрожь пробирает. Я их все сложила в большущий пакет и отправила на чердак.

– Так кто же такая Джейн Фаулер? – опять с улыбкой спросил я.

– Моя золовка. Сестра моего мужа, была замужем за фабрикантом на севере. Она уже много лет вдовствует и очень богата.

– А почему она ваш тяжкий крест?

– Она почтенная старомодная провинциалка. Выглядит на двадцать лет старше меня – и готова первому встречному сообщить, что мы вместе учились в школе. В ней необычайно сильны родственные чувства, а из родни у нее в живых осталась одна я, и она безгранично мне предана. Когда она приезжает в Лондон, ей и в голову не приходит остановиться где-нибудь еще – как бы я не обиделась! И она гостит у меня по три недели, по месяцу. Мы сидим тут, а она вяжет или читает. Иногда, не слушая никаких отговорок, везет меня обедать в «Кларидж», вид у нее курам на смех, ни дать ни взять старуха поденщица, и все, кому я меньше всего хотела бы попасться на глаза, оказываются за соседним столиком. А когда мы едем домой, она объясняет, до чего ей приятно устроить мне маленький праздник. И она собственноручно шьет для меня стеганные чехлы, которыми я вынуждена накрывать чайник, пока она у меня, и вышивает салфеточки и дорожки для обеденного стола.

Миссис Тауэр задохнулась от длинной речи и умолкла.

– Мне кажется, вы, с вашим тактом, могли бы найти какой-то выход из положения.

– Но поймите, мне не к чему придираться. Она безмерно добра. Золотое сердце. Она мне надоедает до смерти, но я изо всех сил стараюсь, чтобы она об этом не догадалась.

– Когда же она приезжает?

– Завтра.

Едва последнее слово слетело с губ миссис Тауэр, у парадной двери позвонили. Из прихожей донесся приглушенный шумок, и через минуту-другую дворецкий ввел в гостиную немолодую леди.

– Миссис Фаулер! – возвестил он. Миссис Тауэр вскочила.

– Джейн! – воскликнула она. – Сегодня я тебя не ждала.

– Да, дворецкий мне так и сказал. А я точно написала в письме, что буду сегодня.

К миссис Тауэр вернулось присутствие духа.

– Ну, это не важно. Я всегда рада тебя видеть. К счастью, сегодня вечер у меня свободный.

– Ни в коем случае не хлопочи из-за меня. Если мне дадут на ужин яйцо в мешочек, больше ничего не надо.

Красивое лицо миссис Тауэр скривилось в мимолетной гримаске. Яйцо в мешочек!

– Ну, надеюсь, у нас найдется что-нибудь получше.

Я вспомнил, что хозяйка и гостя сверстницы, и внутренне усмехнулся. Миссис Фаулер выглядела на все пятьдесят пять. Она оказалась довольно крупной особой; на ней была черная соломенная шляпа, с широких полей сзади на плечи спадала черная кружевная вуаль, плащ – причудливое сочетание строгости и аляповатости, длинное черное платье, такое необъятное, словно под ним надето несколько нижних юбок, и прочные башмаки. Она явно страдала близорукостью, ибо смотрела на мир через большие очки в золотой оправе.

– Не выпьешь ли чаю? – спросила миссис Тауэр.

– Если это не доставит слишком много хлопот. Сейчас я сниму свою накидку.

Она принялась стягивать черные перчатки, потом сняла плащ. Ее шею обвивала массивная золотая цепочка с большим золотым медальоном, в котором, не сомневаюсь, заключена была фотография покойного супруга. Потом она сняла шляпу и вместе с перчатками и плащом аккуратно положила в угол дивана. Миссис Тауэр поджала губы. Что и говорить, наряд миссис Фаулер не слишком подходил к строгой, но величавой красоте этой заново отделанной гостиной. Любопытно, подумал я, где она добывает такие необыкновенные одеяния. Платье не старое, материя дорогая. Странно подумать, что портнихи еще шьют по фасонам, каких никто не носит уже четверть века. Седеющие волосы миссис Фаулер разделены посередине пробором, прическа самая простая, оставляющая лоб и уши открытыми. Волосам этим явно неведомы щипцы какого-нибудь мсье Марселя. Взор

гостыи упал на чайный столик, на серебряный чайник в георгианском стиле и чашки старинного вустерского фарфора.

– Что ты сделала с чехольчиком, который я тебе сшила в прошлый приезд, Мэрион? – спросила она. – Ты им не пользуешься?

– Как же, я пользовалась им каждый день, Джейн, – без запинки ответила миссис Тауэр. – К сожалению, недавно с ним случилась беда. Он сгорел.

– Но предыдущий, который я тебе сшила, тоже сгорел.

– Боюсь, ты нас считаешь ужасно неосторожными.

– Пустяки, – улыбнулась миссис Фаулер, – я с удовольствием сделаю для тебя еще один. Завтра же пойду в магазин Либерти и куплю шелку.

Миссис Тауэр мужественно снесла удар.

– Право, я этого не заслуживаю. А жене вашего приходского священника такой чехол не нужен?

– Для нее я только недавно сшила, – с живостью ответила миссис Фаулер.

Она улыбнулась, блеснули мелкие, ровные, очень белые зубы. Прекрасные зубы. Улыбка у нее оказалась премилая.

Однако я решил, что пора мне оставить их вдвоем, и откланялся.

На другой день рано поутру мне позвонила миссис Тауэр, и по голосу я сразу понял, что она в отличном настроении.

– Хочу вам сообщить потрясающую новость, – сказала она. – Джейн выходит замуж.

– Что за вздор!

– Сегодня она мне представит своего жениха, он у меня обедает, и вы тоже непременно приходите.

– Но я помешаю.

– Нисколько. Джейн сама предложила вас пригласить. Приходите обязательно.

Она неудержимо рассмеялась.

– Кто он такой?

– Не знаю. Джейн говорит, он архитектор. Можете вы себе представить, какого человека выберет в мужья Джейн?

Вечер у меня был свободен, а что обед у миссис Тауэр будет отмененный, я не сомневался.

Когда я пришел, миссис Тауэр, блистательная, в легком свободном платье, которое, правда, естественней выглядело бы на женщине чуть помоложе, была одна.

– Джейн кончает прихорашиваться. Дождаться не могу, когда вы на нее полюбуетесь. Она трепещет от радости. Говорит, что жених ее обожает. Его зовут Гилберт, и, когда она о нем заговаривает, у нее голос так потешно дрожит. Я еле удерживаюсь от смеха.

– Любопытно, на что он похож.

– О, я очень ясно себе представляю. Огромный, громоздкий, лысый, и поперек большого живота большущая золотая цепь. Круглая красная бритая физиономия и оглушительный бас.

Вошла миссис Фаулер. На ней было очень строгое платье черного шелка, с широчайшей юбкой и треном. Скромный треугольный вырез, рукава до локтей. Бриллиантовое ожерелье в серебряной оправе. В руках она держала длинные черные перчатки и черный веер из страусовых перьев. Она умудрялась (это дается далеко не всем) выглядеть в точности тем, что она есть на самом деле. Безошибочно понимаешь: перед тобой добропорядочное ископаемое из семейства наших богатых северных промышленников.

– Шея у тебя очень недурна, Джейн, – с улыбкой великодушно похвалила миссис Тауэр.

И правда, при таком немолодом лице шея удивительная, просто девичья. Гладкая, без морщинки, очень белая. И еще я заметил на редкость красивую посадку головы.

– Сказала вам Мэрион, какая у меня новость? – обратилась ко мне миссис Фаулер с поистине чарующей улыбкой, словно к давнему доброму другу.

– Поздравляю вас, – сказал я.

– Подождите поздравлять, поглядите сперва на моего молодого человека.

– Как мило, что ты называешь жениха своим молодым человеком, – улыбнулась миссис Тауэр.

Глаза миссис Фаулер весело блеснули за несуразными очками.

– Не думай, что увидишь дряхлого старца. Не хочешь же ты, чтобы я вышла за развалину, который уже стоит одной ногой в гробу?

Только этими словами она и предупредила нас. Да и не осталось времени на разговоры, дворецкий распахнул дверь и громко объявил:

– Мистер Гилберт Нэйпир.

Вошел молодой человек в отлично сшитом смокинге. Худощавый, невысокий, со светлыми чуть вьющимися от природы волосами, синеглазый, без бороды и усов. Не то чтобы очень хорош собой, но лицо славное, приветливое. Возможно, лет через десять оно покроется морщинами и поблекнет, но сейчас перед нами был юнец, свеженький, чистенький, цветущий. Уж конечно, не старше двадцати четырех лет. Сперва я подумал: наверно, это сын нареченного Джейн (а я и не знал, что жених – вдовец) явился сказать, что из-за внезапного приступа подагры папаша не может прибыть к обеду. Но его глаза тотчас обратились к Джейн, лицо просияло, и он направился к ней, протянув руки. С застенчивой улыбкой она подала ему обе руки и обернулась к невестке:

– Это мой молодой человек, Мэрион. Он протянул руку.

– Надеюсь вам понравится, миссис Тауэр, – сказал он. – Джейн сказала мне, что у нас в целом свете нет родных, кроме вас.

Стоило в эту минуту посмотреть на миссис Тауэр. Я невольно восхищался, наблюдая, как мужественно воспитанность и светские привычки одерживают победу над истинно женской натурой. Лишь на миг не сумела она скрыть изумление, потом отчаяние и тотчас же, совладав с собой, изобразила на лице любезность и радушие. Но явно не находила слов. Естественно, Гилберт несколько смутился, я тоже не знал, что сказать, только изо всех сил старался удержаться от смеха. Одна миссис Фаулер сохраняла полнейшее спокойствие.

– Конечно, он тебе понравится, Мэрион. Он обожает вкусно поесть. – И обернулась к молодому человеку: – Обеды Мэрион славятся на весь Лондон.

– Я знаю, – лучезарно улыбнулся он.

Миссис Тауэр поспешила ответить что-то подобающее случаю, и мы спустились в столовую. Эта трапеза запечатлелась в моей памяти как изысканнейшая комедия. Миссис Тауэр явно не могла понять – то ли парочка просто ее разыгрывает, то ли Джейн нарочно скрывала возраст своего жениха, чтобы поставить ее, Мэрион, в дурацкое положение. Но ведь Джейн никогда не шутила, а на недобрую выходку просто не способна. Миссис Тауэр изумлялась, досадовала, недоумевала. И все же овладела собой – ни за что не позволит она себе забыть, что она хозяйка и должна принять гостей, как положено. Она оживленно поддерживала беседу, а я спрашивал себя, замечает ли Гилберт Нэйпир, каким жестким, враждебным взглядом, наперекор маске дружелюбия, она на него смотрит. Она его оценивала. Пыталась проникнуть в тайники его души. Я видел, все в ней кипит, искусно подкрашенные щеки ее пылали от гнева.

– У тебя прекрасный румянец, Мэрион, – заметила Джейн ласково.

– Я очень спешила, переодеваясь к обеду. Боюсь, я излишне подкрасилась.

– Разве это краска? Я думала, у тебя естественный цвет лица. Иначе я ничего не сказала бы. – Она мимолетно, робко улыбнулась Гилберту. – Знаешь, мы с Мэрион вместе учились в школе. Теперь, глядя на нас, этого не скажешь, правда? Но, конечно, я всегда жила очень тихо и спокойно.

Уж не знаю, что она хотела этим сказать; трудно поверить, чтобы это говорилось по простоте душевной; так или иначе, ее слова до того взбесили миссис Тауэр, что она махнула рукой на самолюбие. И объявила с улыбкой:

– Да, Джейн, нам с тобой уже стукнуло по пятьдесят. Если она хотела таким разоблачением смутить вдову брата, то просчиталась. Джейн сказала добродушно:

– Гилберт говорит, ради него я не должна признаваться, что мне больше сорока девяти.

У миссис Тауэр слегка дрожали руки, но она и тут нашлась.

– Да, конечно, между вами некоторая разница в возрасте, – с улыбочкой заметила она.

– Двадцать семь лет, – сказала Джейн. – По-твоему, это слишком много? Гилберт говорит, для своих лет я очень молода. Я ведь сказала тебе, что не собираюсь выходить за какого-нибудь дряхлого старца.

Тут уж я не мог удержаться от смеха, засмеялся и Гилберт. Смеялся он от души, как мальчишка. Похоже, его веселило каждое слово Джейн. Но миссис Тауэр, видимо, уже еле сдерживалась, и я с опаской подумал: если не разрядить атмосферу, как бы она впервые в жизни не забыла, что она женщина светская. И постарался прийти на помощь.

– Наверно, у вас сейчас много хлопот с покупкой приданого, – сказал я невесте.

– Нет. Я хотела все заказать своей портнихе в Ливерпуле, я всегда у нее одевалась с тех пор, как первый раз вышла замуж. Но Гилберт мне не позволил. У него очень властный характер, а вкус просто изумительный.

И она посмотрела на него застенчиво, с нежной улыбкой, прямо как семнадцатилетняя девочка.

Миссис Тауэр совсем побелела под своими румянами.

– На медовый месяц мы поедem в Италию. У Гилберта еще не было возможности изучить зодчество Возрождения, и, конечно, архитектору очень важно все посмотреть своими глазами. А по пути мы остановимся в Париже и там купим для меня все, что нужно.

– И надолго вы едете?

– Гилберт условился на службе, что пробудет в отъезде полгода. Для него это будет настоящий праздник, правда? Понимаете, раньше он ни разу не брал отпуска больше чем на две недели.

– Почему же? – спросила миссис Тауэр ледяным тоном, никакая сила воли не могла сделать его теплее.

– Он просто не мог себе этого позволить, бедненький.

– А! – только и вымолвила миссис Тауэр, но самая длинная речь не была бы выразительней.

Подали кофе, и дамы удалились наверх. Мы с Гилбертом заговорили было о том о сем, как бывает, когда людям совершенно нечего сказать друг другу, но через две минуты дворецкий подал мне записку. Записка была от миссис Тауэр и гласила:

«Сейчас же поднимитесь к нам и потом как можно скорей уходите. И уведите его. Я должна немедленно все выяснить с Джейн, не то меня хватит удар».

Я солгал простейшим способом:

– У миссис Тауэр разболелась голова, ей надо лечь в постель. Если вы не против, пожалуй, нам с вами лучше уйти.

– Да, конечно, – ответил он.

Мы поднялись к дамам, а через пять минут были уже на улице. Я окликнул такси и предложил молодому человеку подвезти его.

– Нет, спасибо, – ответил он. – Мне только дойти до угла, а там я вскочу в автобус.

Едва услышав, как за нами затворилась парадная дверь, миссис Тауэр бросилась в бой.

– Ты с ума сошла, Джейн? – вскричала она.

– Надеюсь, не больше многих других, кто обычно в сумасшедшем доме не живет, – добродушно ответила Джейн.

– Смею ли спросить, почему ты собралась выйти за этого молодого человека? – с умопомрачительной учтивостью осведомилась миссис Тауэр.

– Отчасти потому, что он никак не хотел примириться с отказом. Он пять раз делал мне предложение. Я просто устала повторять ему «нет».

– А как ты полагаешь, почему он так жаждет на тебе жениться?

– Ему со мной весело.

– Он бессовестный негодяй! – с досадой воскликнула миссис Тауэр. – Я чуть не сказала ему это прямо в глаза.

– Ты была бы не права, и это было бы не очень вежливо.

– Он нищий, а ты богата. Неужели ты так несусветно глупа и не понимаешь, что он женится на твоих деньгах?

Безмятежное спокойствие не изменяло Джейн. Невозмутимо смотрела она на взбодороженную невестку.

– По-моему, ты ошибаешься, – сказала она. – По-моему, он очень ко мне привязан.

– Ты старуха, Джейн.

– Мы с тобой ровесницы, Мэрион, – с улыбкой ответила миссис Фаулер.

– Я всегда следила за собой. Для своих лет я очень молода. Мне никто не даст больше сорока. Но даже мне и в голову не пришло бы выйти за мальчишку на двадцать лет моложе меня.

– На двадцать семь, – поправила Джейн.

– Уж не хочешь ли ты меня уверить, что сумела себе внушить, будто молодой человек способен питать какие-то чувства к женщине, которая годится ему в матери?

– Я долгие годы жила в глуши. Наверно, я не очень хорошо разбираюсь в человеческой природе. Говорят, есть такой Фрейд, кажется, австриец...

– Не смейся людей, Джейн, – безо всякой учтивости перебила миссис Тауэр. – Это недостойно. Это некрасиво. Я всегда полагала, что ты женщина разумная. Право же, кого-кого, а тебя я не считала способной влюбиться в мальчишку.

– А я в него не влюблена. Я так ему и сказала. Конечно, он мне очень нравится, иначе я и не подумала бы за него выйти. Но я прямо сказала ему, какое именно у меня к нему чувство, иначе было бы нечестно.

Миссис Тауэр так и ахнула. Кровь бросилась ей в голову, дыхание перехватило. Веера под рукой не было, она схватила вечернюю газету и начала энергично обмахиваться ею.

– Если ты в него не влюблена, чего ради ты хочешь стать его женой?

– Я очень долго вдовела и жила очень тихо и спокойно. И подумала, что приятно будет переменить образ жизни.

– Если тебе захотелось замуж просто ради замужества, почему бы не выйти за человека твоих лет?

– Ни один человек моих лет не делал мне предложение пять раз. По правде сказать, ни один человек моих лет вообще не делал мне предложение.

Джейн сказала это со смешком. И тут миссис Тауэр окончательно вышла из себя.

– Не смейся, Джейн. Я этого не потерплю. Ты, видно, совсем потеряла рассудок. Это ужасно.

Она больше не в силах была сдерживаться и разрыдалась. Она знала, в ее возрасте слезы пагубны, потом целые сутки глаза будут опухшие и вид чудовищный. Но совладать с собой не могла. Рыдала. А Джейн оставалась безмятежно спокойна. Она смотрела через огромные очки на Мэрион и задумчиво разглаживала на коленях черное шелковое платье.

– Ты будешь ужасно несчастлива, – всхлипывала миссис Тауэр, осторожно прикладывая к глазам платочек в надежде, что тушь с подчеркнутых ресниц не размажется.

– Да нет, не думаю, – возразила Джейн, по обыкновению, таким ровным, кротким тоном, как будто за словами ее таилась едва заметная улыбка. – Мы очень основательно все это обсудили. Я всегда считала, что со мной очень легко ужиться. Думаю, со мной Гилберт будет счастлив и ему будет очень хорошо. До сих пор некому было о нем как следует позаботиться. Мы не сразу решили пожениться, мы очень здраво все обдумали. И условились, если одному из нас захочется вернуть себе свободу, другой никак не станет ему мешать.

Меж тем миссис Тауэр достаточно оправилась и теперь спросила колко:

– Какое содержание он у тебя выпросил по брачному контракту?

– Я хотела определить ему тысячу фунтов в год, но он и слушать не стал. Совсем

расстроился, когда я это предложила. Он говорит, что достаточно зарабатывает и может сам себя содержать.

– Он хитрей, чем я думала, – едко ответила миссис Тауэр.

Джейн чуть помолчала, в ее взгляде была не только доброта, но и твердость.

– Понимаешь, дорогая, ты на все смотришь по-другому. Ты ведь была не слишком безутешной вдовой, правда?

Миссис Тауэр встретила с ней взглядом. Слегка покраснела. Ей стало даже капельку неловко. Но нет, конечно, Джейн простая душа и не способна на язвительные намеки. Миссис Тауэр призвала на помощь все свое достоинство.

– Я так расстроена, мне сейчас необходимо лечь, – сказала она. – Мы еще обо всем поговорим завтра утром.

– Боюсь, это будет не очень удобно, дорогая. Завтра утром мы с Гилбертом получаем разрешение на брак.

Миссис Тауэр в отчаянии воздела руки к небесам, но так и не нашлась что сказать.

Брак зарегистрировали в муниципалитете. Свидетелями были миссис Тауэр и я. Гилберт в элегантном синем костюме выглядел до смешного юным и явно чувствовал себя неловко. Такие минуты для всякого мужчины испытание. Но Джейн сохраняла великолепную невозмутимость. Можно было подумать, будто она привыкла выходить замуж не реже, чем самая что ни на есть светская особа. Лишь слабый румянец выдавал некоторое волнение, скрытое под внешним спокойствием. Такие минуты для всякой женщины исполнены трепета. На ней было широчайшее платье серебристого бархата, в покрое я сразу признал руку ливерпульской портнихи (несомненно, вдовы самых строгих правил), которая обшивала ее многие годы; однако Джейн настолько уступила легкомыслию обстоятельств, что надела широкополую шляпу, изукрашенную голубыми страусовыми перьями. При очках в золотой оправе выглядело это на редкость несуразно. Когда церемония совершилась, регистратор (кажется, несколько озадаченный разницей в возрасте новобрачных) пожал Джейн руку и со всей официальной похвалой поздравил, а молодой супруг, немного краснея, ее поцеловал. Потом ее поцеловала покорившаяся, но безжалостно суровая миссис Тауэр; а потом новобрачная выжидательно посмотрела на меня. Очевидно, мне тоже надлежало ее поцеловать. Что я и сделал. Когда мы выходили из муниципалитета под циничными взглядами неизбежных зевак, я, признаться, оробел и в машине миссис Тауэр укрылся с облегчением. Мы покатали к вокзалу Виктория, так как счастливая парочка двухчасовым поездом отбывала в Париж и по настоянию Джейн свадебный завтрак предстоял в вокзальном ресторане. Джейн сказала, что всегда очень боится опоздать к поезду. Миссис Тауэр при сем присутствовала лишь из чувства родственного долга, но на светскую любезность у нее сил не хватило: к еде она не притронулась (за что я ее не осуждаю, завтрак был отвратительный, и сам я терпеть не могу шампанское в начале дня), и голос ее звучал неестественно. Но Джейн добросовестно вкушала блюдо за блюдом.

– Я всегда считала, что перед дорогой следует сытно поесть, – сказала она.

Мы проводили новобрачных, и я отвез миссис Тауэр к ней домой.

– Как по-вашему, сколько это продлится? – спросила она. – Полгода?

Я улыбнулся.

– Будем надеяться на лучшее.

– Не говорите глупостей. Какое тут может быть лучшее! Неужели вы думаете, что он женился на ней не ради денег? Разумеется, этот брак не надолго. Я только и надеюсь, что ей придется выстрадать меньше, чем она заслуживает.

Я рассмеялся. Тон, каким высказана была эта великодушная надежда, не оставлял сомнений в подлинных чувствах миссис Тауэр.

– Что ж, если конец настанет быстро, вас утешит возможность сказать: «Я же тебя предупреждала».

– Даю вам слово, никогда я этого не скажу.

– Тогда вам приятно будет поздравить себя с тем, что у вас хватило выдержки не

сказать: «Я же тебя предупреждала».

– Она старая, старомодная и скучная.

– А вы уверены, что она скучная? – переспросил я. – Правда, говорит она мало, но что ни скажет, все попадает в точку.

– За всю свою жизнь я не слышала, чтобы она хоть раз пошутила.

Когда Гилберт и Джейн возвратились из свадебного путешествия, я опять был на Дальнем Востоке и в этот раз провел вдали от Англии почти два года. Миссис Тауэр не любительница писать письма, и хоть я изредка посылал ей красочную открытку, но ответа не получал. Однако, возвратясь в Лондон, я встретился с ней в первую же неделю: мы оказались рядом за столом на званом обеде. Прием был многолюдный, наверно, добрых две дюжины гостей, точно дроздов в пироге в известной детской песенке, а я немного запоздал и, попав в такую толпу, не вдруг разобрал, кто здесь есть. Но когда сели за длинный стол, я огляделся и среди сотрапезников увидел много лиц, широко известных по газетным фотографиям. Хозяйка дома питала слабость к так называемым знаменитостям, и тут собралось на редкость блестящее общество. Миссис Тауэр и я обменялись несколькими фразами, обычными, когда люди не виделись около двух лет, а потом я спросил, как дела у Джейн.

– Очень хорошо, – сухо ответила миссис Тауэр.

– Чем обернулся этот брак?

Миссис Тауэр взяла с тарелки соленую миндалинку, чуть помедлила с ответом.

– По-видимому, он очень удачный.

– Значит, вы тогда ошибались?

– Я сказала, что этот брак не надолго, и сейчас повторяю – не надолго. Он противоречит человеческой природе.

– Она счастлива?

– Они оба счастливы.

– Я полагаю, вы не часто с ними видитесь.

– Сначала виделась очень часто. Но теперь... – Миссис Тауэр слегка поджала губы. – Джейн становится весьма важной персоной.

– То есть? – засмеялся я.

– Наверно, мне сразу следовало вам сказать: она здесь.

– Здесь?!

Я был ошеломлен. Заново обвел глазами стол. Хозяйка дома очень мила и радушна, но я и помыслить не мог, чтобы она пригласила к такому парадному обеду немолодую, старомодную жену безвестного архитектора. От миссис Тауэр не ускользнуло мое замешательство, и она была достаточно умна, чтобы прочитать мои мысли. Она натянуто улыбнулась.

– Посмотрите, кто сидит слева от хозяина.

Я посмотрел. Странно, женщина эта, решительно ни на кого не похожая, бросилась мне в глаза, едва я переступил порог переполненной гостиной. И в ее взгляде мелькнуло что-то, словно она меня узнала, а меж тем, по-моему, я видел ее впервые. Явно не молода, в темных волосах густая проседь; они коротко подстрижены, подвиты, и крутые кудри, точно шлем, подчеркивают красивую форму головы. Эта женщина и не притворяется молодой: на лице, не в пример прочим дамам, ни следа краски, пудры и губной помады. Румяное, загорелое, оно не так уж и красиво, но приятна именно его естественность, свободная от ухищрений косметики. И при таком лице поразительной белизны плечи. Плечи просто великолепны. Такими могла бы гордиться и тридцатилетняя женщина. Но одета она потрясающе. Не часто мне случалось видеть столь смелый наряд. Платье очень открытое и, по тогдашней моде, короткое, черное с желтым; чуть ли не маскарадный костюм – и однако очень ей к лицу; на любой другой женщине оно было бы невозможно, а на ней выглядит просто, будто от природы данная оболочка. И дополняет впечатление ничуть не напускной оригинальности и совсем не нарочитой чудаковатости моноколь на широкой черной ленте.

– Не станете же вы меня уверять, что это и есть ваша золовка, – ахнул я.

– Это Джейн Нэйпир, – ледяным тоном ответила миссис Тауэр.

В эту минуту Джейн заговорила. Хозяин дома повернулся к ней, заранее улыбаясь. Ее сосед слева, седой, лысоватый, с умным тонким лицом, подался вперед и обратился в слух, двое напротив перестали беседовать друг с другом и тоже внимательно слушали. Джейн договорила – и все слушатели разом откинулись на стульях и разразились хохотом. Человек, сидевший напротив миссис Тауэр, обратился к ней через стол; я его узнал, это был известный государственный муж.

– Ваша золовка отпустила новую шуточку, миссис Тауэр, – сказал он.

Моя соседка улыбнулась:

– Она неподражаема, правда?

– Сейчас я выпью шампанского, и, ради всего святого, объясните мне, что произошло, – сказал я.

Итак, вот что я понял из рассказа миссис Тауэр. В начале медового месяца Гилберт водил Джейн по разным парижским портным и предоставил ей выбирать одеяния по своему вкусу, но уговорил ее обзавестись еще и двумя-тремя нарядами, фасон которых изобрел сам. Оказалось, у него на это особый дар. И он нашел для Джейн искусную камеристку-француженку. В обиходе Джейн никогда не бывало ничего подобного. Чинила она свою одежду сама, а если надо было принарядиться, призывала на помощь горничную. Платья, фасон которых изобрел для нее Гилберт, ничуть не походили на все, что Джейн носила прежде; но он был осторожен, действовал шаг за шагом, не спеша, и, чтобы доставить ему удовольствие, она, хоть и не без опаски, стала чаще одеваться по его вкусу. Разумеется, придуманные им платья невозможно было надеть на привычные ей необъятные нижние юбки, и, поборов сомнения и страхи, она от этой части туалета отказалась.

– И теперь, не угодно ли, она только и надевает тоненькое шелковое трико, – сказала миссис Тауэр и фыркнула, по-моему, весьма неодобрительно. – Чудо, что она в свои годы еще не простудилась насмерть.

Гилберт и камеристка-француженка учили Джейн носить новые наряды, и, против ожиданий, она оказалась очень способной ученицей. Француженка пылко восхищалась руками и плечами мадам. Просто стыд и срам прятать такую красоту.

– Подождите немножко, Альфонсина, – сказал Гилберт. – В следующий раз я придумаю для платьев мадам такой покрой, чтобы не скрывать ее достоинств.

Конечно, все портили ужасные очки. Невозможно хорошо выглядеть, когда на тебе очки в золотой оправе. Гилберт попробовал роговые. Покачал головой.

– Это подошло бы молодой девушке, – сказал он. – Тебе очки не по возрасту, Джейн. – И вдруг его осенило: – Ага, придумал! Ты должна носить монокль.

– Что ты, Гилберт, я не могу.

Она посмотрела на мужа, и его волнение, волнение истинного художника, вызвало у нее улыбку. Он так с ней мил, надо постараться доставить ему удовольствие.

– Я попробую, – сказала она.

Пошли к оптику, подобрали монокль нужного размера, и, едва Джейн бойко его примерила, Гилберт захлопал в ладоши. И тут же, к изумлению продавца, расцеловал ее в обе щеки.

– Ты выглядишь чудесно! – воскликнул он.

Итак, они отправились в Италию и провели несколько счастливых месяцев, изучая зодчество Возрождения и барокко. Джейн не только привыкла к своему новому облику, но убедилась, что он ей нравится. Поначалу она немного робела, когда люди оборачивались и смотрели во все глаза, едва она входила в ресторан какого-нибудь отеля, ведь прежде никто и не думал на нее смотреть, однако вскоре оказалось, что это даже приятно. Светские дамы подходили и спрашивали, откуда у нее такое платье.

– Вам нравится? – скромно говорила она. – Этот фасон для меня придумал мой муж.

– Если не возражаете, я хотела бы его скопировать.

Конечно, Джейн многие годы жила тихо и уединенно, однако она отнюдь не лишена была истинно женских чувств. Ответ был у нее наготове:

– Прошу извинить, но мой муж очень требователен, он и слышать не хочет, чтобы кто-то одевался так же, как я. Он хочет, чтобы я была совсем особенной.

Она думала, что, услышав такие слова, над ней станут смеяться, но никто не смеялся, ей отвечали только:

– Да, конечно, это очень понятно. Вы и правда совсем особенная.

Но Джейн видела, они стараются запомнить, как она одета, и почему-то ее это злило. Впервые в жизни она одевается не как все, так с какой стати другие непременно хотят одеваться, как она!

– Гилберт, – сказала она с необычной для нее резкостью, – в другой раз, когда будешь придумывать для меня фасон, придумай так, чтобы никто не мог его перенять.

– Для этого есть только один способ: придумать такие платья, какие можешь носить ты одна.

– А ты можешь такое придумать?

– Да, если ты согласишься кое-что для меня сделать.

– Что же?

– Постричься.

Думаю, тут Джейн впервые заартачилась. Она с юности очень гордилась своими густыми, длинными волосами; остричься – шаг непоправимый. Поистине это значит сжечь свои корабли. Для нее это была не первая нелегкая жертва, напротив – последняя, но она решилась («Я знаю, Мэрион сочтет меня круглой душой, и мне уже никогда больше нельзя будет показаться в Ливерпуле», – сказала она), – и когда, возвращаясь в Англию, они остановились в Париже, Гилберт повел Джейн (ей чуть не стало дурно, так неистово колотилось сердце) к лучшему в мире парикмахеру. Из салона этого искусника она вышла с элегантной, вызывающе дерзкой головкой в крутых седеющих кудрях. Пигмалион довершил свое чудесное творение: Галатея ожила.

– Да, – сказал я, – но это еще не объясняет, почему Джейн сегодня оказалась среди герцогинь, министров и прочих знаменитостей и почему за столом она восседает между хозяином дома и адмиралом.

– Джейн славится юмором, – сказала миссис Тауэр. – Разве вы не видите, как все смеются, что бы она ни сказала?

Теперь уже не оставалось сомнений, сердце миссис Тауэр полно горечи.

– Когда Джейн написала мне, что они вернулись из свадебного путешествия, я сочла своим долгом пригласить их к обеду. Подумала – не слишком это приятно, но так надо. Я знала, скука будет смертная, и не хотела загубить вечер кому-то, кем по-настоящему дорожу. С другой стороны, мне не хотелось, чтобы Джейн вообразила, будто я не знакома с приятными людьми. Вы ведь знаете, я никогда не приглашаю больше восьми человек, а тут подумала, может быть, лучше позвать двенадцать. Тогда я была очень занята и с Джейн до назначенного вечера не виделась. Она немножко опоздала – это была уловка Гилберта – и заявила последней. Я чуть не упала, до того была ошеломлена. Перед нею все женщины показались старомодными провинциалками. Я себя почувствовала какой-то размалеванной халдой.

Миссис Тауэр глотнула шампанского.

– Хотела бы я описать вам ее платье. На любой другой женщине оно бы выглядело немыслимо, на ней это было совершенство. А монокль! Мы с ней знакомы тридцать пять лет, и я ни разу ее не видела без очков.

– Но вы ведь знали, что она хорошо сложена.

– Откуда мне было знать? Я всегда видела ее одетой так, как вы ее увидели в первый раз. Неужели вы тогда нашли, что она хорошо сложена? Похоже, она понимала, что изумила всех своим видом, но принимала это как должное. Я подумала о своих гостях и вздохнула с облегчением. Хотя Джейн и нудная, при такой наружности это уже не столь важно. Она

сидела в другом конце стола, там много смеялись, и я рада была, что остальные делают хорошую мину при плохой игре; но потом я даже растерялась: после обеда по меньшей мере три человека сказали мне, что моя золовка неподражаема и как я полагаю, позволит ли она им ее навестить? Я не верила своим ушам. На другой же день наша сегодняшняя хозяйка позвонила мне и сказала: ей говорили, что моя золовка сейчас в Лондоне и что она неподражаема, и нельзя ли прийти ко мне завтракать и познакомиться с ней. А у этой женщины безошибочное чутье: через месяц кругом только и разговору было что о Джейн. Я здесь сегодня не потому, что двадцать лет знакома с хозяйкой дома и сто раз приглашала ее к себе, но потому, что я в родстве с Джейн.

Бедная миссис Тауэр. Она была жестоко уязвлена, и, невольно забавляясь тем, как круто переменялись роли, я все же решил, что она достойна сочувствия.

– Люди не могут устоять перед теми, кто их смешит, – сказал я, пытаюсь ее утешить.

– Ну, меня она ни разу не насмешила.

С другого конца стола как раз донесся новый взрыв смеха, видно, Джейн опять сказала что-то забавное.

– Неужели вы единственная не находите ее потешной? – спросил я с улыбкой.

– А вас она и тогда поразила своим юмором?

– Признаться, нет.

– Она в точности так же разговаривает уже тридцать пять лет. Я смеюсь, когда вижу, что смеются другие, чтобы не показаться круглой душой, но меня это не забавляет.

– Как королеву Викторию, – сказал я.

Это была неумная шутка, и миссис Тауэр с полным правом довольно резко мне так и сказала. Я попробовал переменить тему.

– А Гилберт здесь? – спросил я, оглядывая сидящих за столом.

– Гилберта приглашали, потому что она никуда не хочет ездить без него, но сегодня он на приеме в Институте архитектуры или как там называется это заведение.

– Я жажду возобновить с ней знакомство.

– После обеда подойдите и заговорите с ней. Она пригласит вас на свои вторники.

– Ее вторники?

– Она принимает вечером по вторникам. У нее можно встретить любую знаменитость. Ее приемы – лучшие в Лондоне. За один год она достигла большего, чем я за двадцать лет.

– Но ведь это просто чудеса. Как ей это удалось?

Миссис Тауэр пожала красивыми, но чересчур пухлыми плечами.

– Буду рада, если вы мне это объясните.

После обеда я направился было к дивану, где сидела Джейн, но не пробился к ней, и лишь немного позже хозяйка дома подошла ко мне со словами:

– Я должна вас познакомить со звездой сегодняшнего вечера. Вы не знакомы с Джейн Нэйпир? Она неподражаема. Она куда забавнее всех ваших комедий.

Меня подвели к дивану. Адмирал, недавний сосед Джейн по столу, и сейчас был с нею рядом. Он явно не собирался сдвинуться с места, и Джейн, обменявшись со мной рукопожатием, представила меня ему.

– Вы знакомы с сэром Реджинальдом Фробишером?

Завязалась беседа. Джейн была все та же, какую я знал прежде, простая душа, искренняя, бесхитростная, но при таком фантастическом облике любое ее слово приобретало особую пикантность. Вдруг я поймал себя на том, что неудержимо хохочу. Джейн что-то сказала, разумно и кстати, но ничуть не пытаюсь острить, и однако ее манера говорить и добродушный взгляд через монокль были поистине неотразимы. Мне стало легко и весело. На прощание она сказала:

– Если у вас нет занятия поинтереснее, приходите к нам вечером во вторник. Гилберт будет вам очень рад.

– Когда он пробудет в Лондоне месяц, он поймет, что ничего интереснее нет и быть не может, – заметил адмирал.

Итак, во вторник, но довольно поздно, я отправился к Джейн. Общество, которое я там застал, признаться, меня удивило. Не часто собираются вместе столько видных писателей, художников и политических деятелей, артистов, знатных дам и выдающихся красавиц; миссис Тауэр сказала правду, прием был великолепный; с тех пор как продан был Стаффорд-Хаус, я в Лондоне ничего подобного не видел. Никаких особых развлечений не предлагалось. Стол был хорош, но не роскошен. От Джейн, как всегда, веяло спокойным довольством; по-моему, она не слишком старалась занимать гостей, но все явно чувствовали себя прекрасно, вечер прошел приятно и весело, разъехались только в два часа ночи. После этого я постоянно виделся с Джейн. Я не только часто бывал у нее в доме, но встречал ее повсюду, редкий прием теперь обходился без Джейн Нэйпир. Сам я любитель юмора и все пытался понять, в чем секрет ее своеобразного дарования. Повторить, что она говорила, невозможно, ведь шутки, подобно некоторым винам, не переносят путешествий. Она нисколько не язвила. Не блистала находчивостью. В ее замечаниях не было яда, в метких ответах – колкости. Кое-кто думает, что суть остроумия не в краткости, а в двусмысленности, но Джейн ни разу не произнесла ничего такого, что вогнало бы в краску викторианскую добродетель. По-моему, юмор Джейн был бессознательным и, уж во всяком случае, непосредственным. Он порхал мотыльком с цветка на цветок, повинаясь лишь своей прихоти, не ведая ни метода, ни расчета. Многое зависело от того, как она говорит и как выглядит. Тонкость юмора подчеркивалась вызывающе причудливым обликом – творением Гилберта, но облик – это еще далеко не все. Разумеется, сейчас Джейн вошла в моду, и люди начинали смеяться, стоило ей открыть рот. Никого уже не удивляло, что Гилберт женился на женщине много старше его. Все видели: у Джейн возраст не имеет значения. Все считали, что этому малому чертовски повезло. Тот самый адмирал процитировал мне строки Шекспира: «Ее разнообразью нет конца. Пред ней бессильны возраст и привычка». Гилберт был в восторге от ее успеха. Я узнал его поближе, и он мне нравился. Никакой он был не негодяй и не охотник за богатым приданым. Он не только безмерно гордился своей Джейн, но всей душой был ей предан. Относился к ней с трогательной добротой. Оказалось, это очень милый и совершенно бескорыстный молодой человек.

– Ну, что вы теперь скажете о Джейн? – однажды спросил он меня победоносно, прямо как мальчишка.

– Право, не знаю, кто из вас большее чудо, вы или она, – ответил я.

– Да нет, при чем тут я?

– Чепуха. Неужели, по-вашему, я так глуп и не понимаю, что вы, и только вы, сделали Джейн такой, какая она есть.

– Я увидел в ней то, что не бросалось всем и каждому в глаза, вот и вся моя заслуга.

– Я могу понять, что вы подметили, как показать необычность ее внешнего облика, но растолкуйте мне, как вы умудрились сделать ее остроумной?

– А я всегда считал, что ее шуточки просто уморительны. Она всегда была остроумна.

– Кроме вас, никто ничего подобного не думал.

Миссис Тауэр не без великодушия признала, что в Гилберте она ошиблась. Она даже стала очень нежно к нему относиться. Но, наперекор видимому благополучию, по-прежнему стояла на своем: брак этот недолговечен. Я не мог не посмеяться над нею.

– В жизни не видал более преданных супругов, – сказал я.

– Гилберту сейчас двадцать семь. Самое время появиться на сцене какой-нибудь хорошенькой девушке. Заметили вы на последнем приеме у Джейн хорошенькую племянницу сэра Реджинальда? По-моему, Джейн очень внимательно к ним обоим присматривалась, и это навело меня на размышления.

– А я думаю, Джейн не страшны никакие молодые соперницы.

– Поживем – увидим, – сказала миссис Тауэр.

– Вы считали, что этого брака хватит на полгода.

– Что ж, теперь я думаю, его хватит на три года.

Такова уж человеческая природа: если кто-то слишком уверен в своей правоте, естественно, хочешь, чтобы он ошибся. Поистине, миссис Тауэр была самоуверенна сверх меры. Но мне не дано было над ней восторжествовать, ибо в конце концов то, что она столь убежденно предсказывала этому неравному браку, свершилось. Но судьба зачастую преподносит нам желанные дары совсем не так, как мы того желали, и хотя миссис Тауэр могла тешить себя мыслью, что оказалась права, она, полагая, предпочла бы ошибиться. Ибо все произошло совсем не так, как она ждала.

Однажды она позвонила мне, настойчиво попросила прийти, и, по счастью, я отправился к ней немедленно. Едва я вошел, миссис Тауэр встала и двинулась мне навстречу с бесшумной стремительностью леопарда, заведшего добычу. Она явно была взволнована.

– Джейн с Гилбертом разошлись, – сказала она.

– Вот как? Что ж, в конце концов вы оказались правы.

Она как-то очень странно на меня посмотрела.

– Бедняжка Джейн, – пробормотал я.

– Бедняжка Джейн! – повторила миссис Тауэр, но таким язвительным тоном, что я опешил.

Не сразу она сумела объяснить мне, что же произошло.

Она кинулась к телефону и вызвала меня, едва затворилась дверь за Гилбертом. Когда он пришел к ней, по его отчаянному, смертельно бледному лицу она мгновенно поняла – случилось что-то ужасное. И уже знала, что услышит, прежде чем он вымолвил:

– Мэрион, Джейн меня оставила.

Она слегка улыбнулась и взяла его за руку.

– Я знала, что вы будете вести себя как рыцарь. Для Джейн было бы ужасно, если бы люди думали, что это вы ее оставили.

– Я пришел к вам, потому что знал: вы мне посочувствуете.

– О, я вас ничуть не осуждаю, Гилберт, – великодушно сказала миссис Тауэр. – Это неминуемо должно было случиться.

Он вздохнул.

– Да, наверно. Не мог я надеяться навсегда ее удержать. Она такая замечательная, а я самый заурядный малый.

Миссис Тауэр похлопала его по руке. Без сомнения, он держится очень благородно.

– Что же теперь будет?

– Да вот, она хочет со мной развестись.

– Джейн всегда говорила, что не станет вам мешать, если вы захотите жениться на молоденькой.

– Неужели, по-вашему, я когда-нибудь захочу на ком-то жениться после Джейн? – возразил Гилберт.

Это ее озадачило.

– Но ведь вы, конечно, хотите сказать, что это вы оставили Джейн?

– Я? Никогда в жизни я бы ее не оставил.

– Так почему же она с вами разводится?

– Как только определение суда о разводе вступит в силу, она выйдет за сэра Реджинальда Фробишера.

Миссис Тауэр даже взвизгнула от неожиданности. А потом почувствовала такую слабость, что пришлось прибегнуть к нюхательной соли.

– Так-то она благодарна за все, что вы для нее сделали?

– Ничего я для нее не сделал.

– Вы хотите сказать, что позволите ей вот так выжать вас и бросить?

– Перед тем, как пожениться, мы уговорились – если один из нас захочет вернуть себе свободу, другой чинить препятствий не станет.

– Но это же делалось для вас. Ведь вы на двадцать семь лет моложе ее.

– Ну, это условие оказалось для нее очень выгодным, – горько сказал Гилберт.

Миссис Тауэр увещевала его, спорила, доказывала, но Гилберт твердил одно: никакие правила и обычаи к Джейн неприменимы, и он должен в точности исполнить ее желание. От миссис Тауэр он ушел совсем убитый. Она изрядно отвела душу, в подробностях пересказав мне весь этот разговор. Ей приятно было, что я поражен не меньше, чем она сама, а если я не так возмущаюсь поступком Джейн – что ж, видно, такова преступная безнравственность, присущая всем мужчинам. Она все еще пребывала в крайнем волнении, когда дворецкий отворил дверь и появилась... Джейн собственной персоной. Платье на ней было черное с белым, как оно, конечно, подобало ее несколько двусмысленному положению, но такого невообразимо оригинального фасона и шляпа такая неслыханная, что я только ахнул. Однако держалась она как всегда добродушно и спокойно. Она подошла к миссис Тауэр и хотела ее поцеловать, но та с ледяным достоинством отстранилась.

– Здесь был Гилберт, – сказала она.

– Да, я знаю, – улыбнулась Джейн. – Я посоветовала ему тебя навестить. Я сегодня уезжаю в Париж и хочу, чтобы ты была с ним поласковее, пока я в отъезде. Боюсь, на первых порах ему будет довольно одиноко, и я была бы спокойнее, если б могла рассчитывать, что ты за ним приглядишь.

Миссис Тауэр всплеснула руками.

– Гилберт сейчас меня ошеломил, я просто не могу этому поверить. Он говорит, ты собираешься с ним развестись, чтобы выйти за Реджинальда Фробишера.

– А разве ты не помнишь: перед тем, как я вышла за Гилберта, ты сама советовала мне найти мужа моих лет. Адмиралу пятьдесят три.

– Но, Джейн, ты же всем обязана Гилберту, – возмутилась миссис Тауэр. – Без него ты пропадешь. Он не станет придумывать для тебя наряды, и ты обратишься в ничто.

– А он обещал и дальше придумывать мне наряды, – добродушно отвечала Джейн.

– Ни одна женщина не желала бы лучшего мужа. Он всегда был по отношению к тебе сама доброта.

– Да, я знаю, он был очень милый.

– Как ты можешь быть такой бессердечной?

– Но ведь я никогда не была влюблена в Гилберта, – сказала Джейн. – Я ему прямо об этом говорила. А теперь, я чувствую, мне нужен рядом человек моего возраста. Пожалуй, я достаточно времени пробыла женой Гилберта. С молодежью не о чем разговаривать. – Она чуть помолчала, одарила нас обоих прелестной улыбкой. – Конечно, я не потеряю Гилберта из виду. Я это обсудила с адмиралом. Племянница Реджинальда будет очень подходящей парой Гилберту. Как только мы поженимся, мы пригласим их погостить у нас на Мальте – вы ведь знаете, адмирал должен принять командование флотом в Средиземном море, – и я ничуть не удивлюсь, если они влюбятся друг в дружку.

Миссис Тауэр презрительно фыркнула.

– А с адмиралом ты тоже условилась, что, если кто-нибудь из вас захочет вернуть себе свободу, другой не станет чинить препятствий?

– Я это предлагала, – невозмутимо ответила Джейн. Но адмирал говорит, у него глаз наметанный, алмаз со стекляшкой он не спутает и ни на ком больше жениться не захочет, а если кто захочет жениться на мне, так у него на флагманском корабле восемь двенадцатидюймовых пушек, и он будет вести спор с близкого расстояния. – Тут она так взглянула на меня через монокль, что даже страх перед гневом миссис Тауэр не помешал мне рассмеяться. – По-моему, адмирал очень вспыльчив.

Миссис Тауэр, разумеется, метнула в меня сердитый взгляд из-под сдвинутых бровей.

– Я никогда не считала тебя остроумной, Джейн, – сказала она. – Понять не могу, почему людей смешит все, что ты ни скажешь.

– Я и сама не считаю себя остроумной, Мэрион. – Джейн улыбнулась, блеснули прекрасные ровные зубы. – И я рада уехать из Лондона, пока слишком многие не разделили наше с тобой мнение.

– Хотел бы я, чтобы вы открыли мне секрет вашего потрясающего успеха, – вставил я.

Джейн посмотрела на меня с хорошо мне знакомым добродушным, бесхитростным выражением.

– Знаете, когда я вышла за Гилберта и стала жить в Лондоне и все начали смеяться, что бы я ни сказала, я удивлялась больше всех. Тридцать лет подряд я разговаривала в точности так же, и никто в этом не видел ничего смешного. И я подумала: наверно, всех потешают мои платья, или моя стрижка, или монокль. А потом оказалось, все это потому, что я говорю правду. Люди совсем не привыкли слышать правду, вот им и кажется, что это юмор. Не сегодня-завтра кто-нибудь еще откроет, в чем тут секрет, а когда все станут говорить правду, это, конечно, уже не будет забавно.

– А почему мне одной твои разговоры не кажутся забавными? – спросила миссис Тауэр.

Джейн ответила не сразу, словно и сама подыскивала верное объяснение.

– Пожалуй, ты просто не умеешь разобрать, что правда, а что нет, Мэрион, дорогая, – сказала она с обычным кротким благодушием.

И тем самым, конечно, последнее слово осталось за ней. Последнее слово всегда останется за Джейн, понял я. Она воистину неподражаема.

На чужом жнивье¹ **(пер. Т. Казавчинская)**

Хотя мы с Блэндами знакомы уже много лет, я не знал, что Ферди Рабенстайн приходится им родственником. С Ферди мы впервые встретились, когда ему было лет пятьдесят, а в пору, о которой я пишу, уже давно перевалило за семьдесят. Впрочем, изменился он мало. Его жесткие, но все еще густые выующиеся волосы, конечно, побелели, однако фигура сохраняла легкость, и держался он с обычной своей галантностью. Легко верилось, что в молодости он был замечательно хорош собой и что молва ему не льстит. У него и сейчас был точеный семитский профиль и блестящие черные глаза, разбившие сердце не одной англичанке. Высокий, худощавый, с правильным овалом лица и гладкой кожей, он к тому же прекрасно носил платье, и даже сейчас в вечернем костюме выглядел самым красивым из всех известных мне мужчин. В пластроне его рубашки красовались черные жемчужины, на пальцах – платиновые кольца с сапфирами. Пожалуй, его стиль грешил известной броскостью, но чувствовалось, что он прекрасно соответствует характеру Ферди: ему бы просто не пошло ничто иное.

– В конце концов, я человек восточный, – отшучивался он, – могу себе позволить толику варварского излишества.

Мне всегда приходило в голову, что Ферди Рабенстайн прямо просится в литературные герои: отличная бы получилась биография. Он не был великим человеком, но, в назначенных себе пределах, превратил свою жизнь в произведение искусства. То был маленький шедевр, вроде персидской миниатюры, чья ценность – в полной завершенности. Только, к сожалению, данных было бы маловато. Такая биография должна бы состоять из писем, которые скорей всего давно были уничтожены, а также из воспоминаний тех, кто очень стар и вскоре сойдет в гроб. У самого Ферди память феноменальная, но он не станет писать мемуары, ибо воспоминания для него – источник глубоко интимных радостей, а человек он такта безупречного. Да я и не знаю никого, кроме Макса Бирбома, кто мог бы воздать подобному герою по заслугам. В сегодняшнем жестоком мире лишь он способен отнестись к банальному с таким нежным участием и возбудить такое мягкое сочувствие к тщете. Удивительно, что Макс, который, надо думать, знает Ферди и много дольше, и много лучше моего, не пожелал ради него пускать в ход свою изощренную фантазию. Ферди просто был создан, чтобы попасть к Максиму на перо. А иллюстрировать эту изысканную книгу, стоящую у меня перед глазами, следовало бы, конечно, Обри Бердслею. То был бы тройной памятник, воздвигнутый великими в честь однодневки, которая почилла бы на века в чарующе прозрачном янтаре.

Победы Ферди были светскими, и ристалищем ему служил большой свет. Родился он в

¹ Аллюзия на стихотворение Джона Китса (1795–1821) «Ода к соловью». – прим. пер.

Южной Африке, в Англию приехал уже в двадцатилетнем возрасте. Какое-то время занимался биржевыми операциями, но, унаследовав значительное отцовское состояние, оставил дела и предался праздной жизни. Английское общество тогда еще было непроницаемо для посторонних, и еврею нелегко было прорваться сквозь его препоны, но перед Ферди они пали, словно стены Иерихона. Он был красавец, богач, он любил охоту, он был приятен в обращении. Ему принадлежал дом на Керзон-стрит, обставленный изумительной французской мебелью, он держал повара-француза, ездил в двухместной карете. Любопытно было бы узнать, как, с каких шагов началась столь блистательная карьера, но сведения об этом покрыты мраком неизвестности. Когда мы с ним встретились впервые, он уже давно слыл одним из самых элегантных людей в Лондоне. Случилось это в Норфолке, в одном весьма фешенебельном доме, куда меня как подающего надежды молодого романиста пригласила хозяйка, питавшая слабость к литературе; общество там собралось самое избранное, и я был преисполнен трепета. Нас было шестнадцать человек гостей, чувствовал я себя неуверенно и одиноко среди членов кабинета, гранд-дам и пэров Англии, говоривших о людях и обстоятельствах, мне совершенно не известных. Они держались вежливо, но безучастно, и я не мог не сознавать, что, так или иначе, являюсь для хозяйки обузой. Спас меня Ферди. Он присаживался ко мне, прохаживался со мной, разговаривал только со мной. Едва он узнал, что я писатель, как сразу заговорил о драме и романе; выяснив, что я долго жил на континенте, с большой приятностью стал рассуждать о Франции, Германии, Испании. Можно было подумать, что он и впрямь дорожит моим обществом. Он подарил мне лестное ощущение того, что мы с ним нечто совсем иное, чем прочие гости, и на фоне наших с ним разговоров о высоких материях все остальные – о международном положении, скандальных разводах каких-то супружеских пар и нараставшем нежелании фазанов подставляться под пули – просто несерьезны. Если в глубине души Ферди и в самом деле ощущал хоть тень презрения к окружавшим нас бодрым и энергичным господам, я убежден, что только мне позволил он заметить это чувство, но, оглядываясь назад, не могу не задаться вопросом: а вдруг это был, в конце концов, всего лишь учтивый и очень тонкий комплимент с его стороны? Ему, конечно, нравилось испытывать силу своих чар, и, осмелюсь заметить, непритворное удовольствие, которое я получал от нашей беседы, ему льстило, но все же у него не было какой-либо иной причины нянчиться с малоизвестным романистом, кроме искреннего интереса к литературе и искусству. Я ощущал, что оба мы, по сути дела, были равно чужды этому кругу (я – потому что был писателем, он – потому что был евреем), но не мог не завидовать непринужденности, с какой он держался. Чувствовал он себя как дома. Все называли его Ферди. Казалось, хорошее настроение его не покидает. За словом – будь то колкость, шутка или ответная реплика – он не лез в карман. Его любили в этом доме, потому что он всех смешил и никогда никого не ставил в неловкое положение, сказав что-либо недоступное разумению присутствовавших. Он придавал их жизни легкий привкус восточной романтики, но делал это так умно, что от этого они еще больше ощущали себя англичанами. С ним невозможно было соскучиться, и, если он оказывался среди приглашенных, можно было не опасаться, что за столом повиснет убийственное молчание, как водится порою у британцев. На случай неизбежной паузы у Ферди Рабенстайна всегда была припасена тема, которую все находили забавной. Бесценная находка для любого общества! В памяти у него хранился неисчерпаемый запас еврейских анекдотов. Он был отличным имитатором, еврейскому акценту и мимике подражал замечательно; голова у него при этом уходила в плечи, лицо приобретало хитроватое выражение, в голосе появлялись елейные нотки, и перед вами предстал раввин, или старьевщик, или разбитной коммивояжер, а то и толстуха сводница из Франкфурта. Удовольствие было как в театре. Оттого, что сам он был еврей и не скрывал этого, мы хохотали до упаду, хотя и не без легкого смущения – по крайней мере моего. Мне не вполне понятно, что это за юмор, повелевающий так жестоко насмехаться над собственным племенем. Позже я узнал, что еврейские анекдоты были коньком Ферди Рабенстайна, и почти не бывало случая, чтобы, оказавшись с ним в одной компании, я, поздно или рано, не услышал от него какого-нибудь самоновейшего

анекдота.

Впрочем, лучшая история, которую он мне тогда рассказал, была отнюдь не еврейская. Она произвела на меня такое сильное впечатление, что навсегда запала в память, но почему-то мне никогда не представлялось случая пересказать ее. И если я привожу ее здесь, то потому только, что этот незначительный, но любопытный эпизод касается людей, чьи имена останутся в светских анналах викторианской эпохи, и, по-моему, жаль было бы забыть его. Ферди поведал, что давным-давно, в ранней молодости, он как-то раз гостил в одном загородном доме, где познакомился с миссис Лангтри, находившейся в расцвете красоты и легендарной славы. Дом этот стоял не так уж далеко – в часе-другом езды на машине от имения герцогини Сомерсетской, королевы Инглинтонского парада красоты, а так как Ферди был немного знаком с герцогиней, ему пришло в голову, что было бы забавно свести обеих женщин вместе. Мысль эта понравилась миссис Лангтри, и он тотчас отправил герцогине записку, нельзя ли привезти к ней в гости известную красавицу. Было бы только справедливо, писал он, если бы самая прелестная женщина нынешнего поколения (дело было в 80-х годах прошлого века) могла отдать дань уважения самой прелестной женщине поколения предшествующего. «Непременно привозите, – последовал ответ, – но предупреждаю, что для нее это будет шоком». Они приехали в двуконной карете (на миссис Лангтри был голубой капор с длинными атласными лентами, плотно прилегавший к головке и подчеркивавший изящество линий, ее синие глаза казались в нем еще синее), навстречу гостям вышла маленькая, уродливая старая карга и вперила свои иронически поблескивавшие глазки-бусинки в лучезарно прекрасную гостью. Они выпили чаю, поговорили и вскоре отправились обратно. Дорогой миссис Лангтри не проронила ни слова; Ферди заметил, что она тихо глотает слезы. Когда они вернулись домой, она поднялась к себе и вечером не спустилась к обеду. Ее впервые пронзила мысль, что красота смертна.

На прощание Ферди спросил у меня адрес и, когда я через несколько дней вернулся в Лондон, пригласил меня отобедать. Нас было шесть человек: американка – жена английского лорда, художник из Швеции, актриса и известный критик. Еда была отменная, напитки – превосходные. Беседа велась непринужденно и умно. После обеда Ферди упростили поиграть на рояле. Как я потом выяснил, он всегда играл только венские вальсы, они-то и составляли его особый репертуар, и легкая, напевная, чувственная музыка, казалось, идеально гармонировала с его осторожной фатоватостью. Играл он без малейшего надрыва, ритмично, с четкой фразировкой и прекрасным туше. Этим обедом началась длинная череда наших совместных трапез; он приглашал меня раза два-три в году, а со временем мы все чаще и чаще стали встречаться и на светских раутах. Мое положение в обществе упрочилось, а его, пожалуй, чуть-чуть пошатнулось. В последние годы я встречал его порою на приемах, где среди гостей бывали и другие евреи, и в его блестящих жидким блеском глазах, когда они на миг задерживались на лицах соплеменников, мелькало, как мне чудилось, добродушное удивление: куда, дескать, катится мир! Иные считали его снобом – по-моему, несправедливо: просто, волею обстоятельств, в ранней юности ему встречались одни лишь знаменитости. К искусству он питал подлинную страсть и в общении с его создателями поворачивался лучшей своей стороной. С ними он никогда не позволял себе той легкой дурашливости, какую напускал в разговорах с великими, наводя на мысль, что никогда не принимал их пресловутое величие за чистую монету. Вкус у него был рафинированный, и многие его друзья рады были воспользоваться его осведомленностью. Никто лучше Ферди не разбирался в старинной мебели, и благодаря ему было спасено немало ценных предметов обстановки, переместившихся с чердаков фамильных особняков на почетные места в гостиных. Он любил прохаживаться по аукционам и всегда был готов услужить советом важным дамам, которым хотелось сделать изысканную покупку и в то же время выгодно вложить деньги. Он был богат и добродушен. Ему нравилось покровительствовать искусству, и он не жалел трудов, чтобы раздобыть заказ для начинающего художника, чьим талантом восхищался, или приглашение в богатый дом для молодого виолончелиста, не имевшего другого случая

выступить перед публикой. Но не подводил он и хозяев таких домов. Он отличался слишком хорошим вкусом, чтоб опуститься до обмана, и как ни бывал порою снисходителен к посредственности, он бы и пальцем не пошевелил, чтобы помочь человеку бесталанному. Собственные его музыкальные вечера проходили в узком, избранном кругу и доставляли истинное наслаждение.

Жены у него не было.

– Я человек светский, – говорил он, – и, льщу себя надеждой, без предрассудков: *tous les goûts sont dans la nature*,¹ но я вряд ли смог бы жениться на иноплеменнице. Можно, конечно, явиться в оперу и в смокинге, ничего страшного. Но мне это просто в голову не придет.

– В таком случае почему бы вам не жениться на еврейке?

(Сам я не слышал этого разговора, но мне пересказала его та самая разбитная, дерзкая особа, которая и приступила с ним к Ферди.)

– Ах, моя дорогая, наши женщины так плодovitы. Мне невыносима сама мысль о том, что я могу наводнить мир крошкой Исааком, крошкой Иаковом, крошкой Ревеккой, крошкой Лией и крошкой Рахилью.

Однако в свое время у него были громкие любовные приключения, и он все еще жил в ореоле былых романтических подвигов. В молодости характер у него был влюбчивый. Я знал пожилых дам, которые говорили мне, что он был неотразим, и, поддавшись нахлынувшему воспоминаниям, рассказывали, как та или иная женщина совершенно теряла из-за него голову, и, как ни удивительно, не находили для нее слов осуждения в своем сердце – столь велика была власть его красоты. Забавно было узнавать в высокородных дамах – героинях только что опубликованных мемуаров, или в почтенных пожилых матронах, всегда готовых поговорить об успехах своих внуков в Итоне и путавших карты за бриджем, – тех самых женщин, которых некогда снедала греховная страсть к красавцу еврею. Самой шумной любовной историей Ферди была связь с герцогиней Херефордской – обворожительной, любезной и бесшабашной красавицей конца викторианской эпохи. Их роман длился двадцать лет. Несомненно, за это время у Ферди случались и другие увлечения, но отношения с герцогиней оставались незыблемыми и общепризнанными. А когда они наконец расстались, он сумел превратить стареющую любовницу в верного друга, что свидетельствует о его несравненном такте. Недавно, помнится, я видел эту пару на ленче. Она была высокой старухой с величавой осанкой и со слоем краски на изношенном лице. Дело было в «Карлтоне», и Ферди, пригласивший меня и герцогиню, опоздал на несколько минут. Он предложил нам коктейль, но она отказалась, объяснив, что нам уже его подали.

– То-то я смотрю, у вас глаза блестят еще ярче обычного, – заметил он.

Старая увядшая женщина зарделась от удовольствия.

Молодость моя миновала, я вступил в средний возраст и стал задумываться о том, что скоро придется называть себя пожилым человеком. Я писал романы и пьесы, путешествовал, набирался опыта, влюблялся и охладевал, но все так же встречал Ферди на светских раутах. Разразилась и долго не кончалась война, миллионы людей погибли, изменился облик мира. Ферди не жаловал войны. Чтобы сражаться, он был слишком стар, немецкая его фамилия раздражала слух, но он проявил осторожность и обезопасил себя от унижений. Старые друзья были ему верны, и он избрал исполненное достоинства и не слишком строгое уединение. Но вот наступил мир, и Ферди мужественно старался не падать духом в изменившихся условиях. В обществе все смешалось, вечера проходили бурно, но Ферди приноровился к новой жизни. Он все так же рассказывал смешные еврейские анекдоты, так же прелестно играл вальсы Штрауса, так же расхаживал по аукционам и давал советы новым богачам, что следует купить. Я переехал за границу, но всякий раз, бывая в Лондоне, встречался с Ферди; правда, теперь в нем появилось что-то жутковатое: время не оставляло на нем следов. Во всю свою жизнь он не проболел и дня. Все так же элегантно одевался.

¹ В природе всему есть место (фр.).

Проявлял ко всему интерес. Сохранил живость ума. И его приглашали на обеды не из уважения к прошлому, а потому что он был полезным гостем. И он все так же устраивал прелестные маленькие концерты в своем доме на Керзон-стрит.

На одном таком музыкальном вечере я и сделал открытие, которое пробудило в памяти все, тут рассказанное. Мы ужинали в одном доме на Хилл-стрит, был большой прием, и, когда женщины поднялись наверх, мы с Ферди оказались рядом. Он сказал, что в пятницу вечером у него будет играть Лия Мэкерт и был бы рад меня видеть.

– Как жаль, – сказал я, – но я должен быть у Блэндов.

– Каких Блэндов?

– Суссекских, в усадьбе Тильби.

– Вот не думал, что вы их знаете.

Он как-то странно посмотрел на меня и засмеялся. Я не понял, что его так развеселило, и добавил:

– О, мы старые знакомые. У них чудный дом, очень гостеприимный.

– Адольф приходится мне племянником.

– Сэр Адольфус?

– Мы ведь говорим об одном из щеголей эпохи Регентства, не так ли? Да, не стану скрывать, наречен он был Адольфом.

– Все, кого я знаю, зовут его Фредди.

– Ну да, и, полагаю, его жена Мириам откликается только на имя Мюриел.

– Каким образом он может быть вашим племянником?

– Таким, что моя сестра Ханна Рабенстайн вышла замуж за Альфонса Блейкогеля, который под конец жизни стал сэром Альфредом Блэндом, первым баронетом, и их единственный сын Адольф в положенное время стал Адольфусом Блэндом, вторым баронетом.

– Так, значит, мать Фредди Блэнда, леди Блэнд, которая живет на Портленд-плейс, ваша сестра?

– Моя сестра Ханна. Старшая в семье. Ей восемьдесят лет, но она в полном здравии – и физически, и умственно, и вообще замечательная женщина.

– Ни разу ее не видел.

– Полагаю, ваши друзья Блэнды об этом позаботились. Она ведь так и не избавилась от своего немецкого акцента.

– Вы с ними видите?

– Мы не встречаемся уже двадцать лет. Ведь я весь такой из себя еврей, а они такие истые англичане. – Он улыбнулся. – Никогда не мог запомнить, что они теперь Фредди и Мюриел. Вечно выскакивал с Адольфом и Мириам в самую неподходящую минуту. К тому же им не по душе мои байки. Так что лучше было не встречаться. Ну, а когда началась война и я не изменил фамилию, это оказалось для них уже слишком. Но менять ее было, увы, поздно. Я не мог приучить своих друзей не думать о себе как о Ферди Рабенстайне, и меня это вполне устраивало. У меня не было дерзновенного желания именоваться Смитом, Брауном или Робинсоном.

Хотя он говорил шутливо, в его голосе слышна была (впрочем, не уверен: чересчур зыбким было ощущение) едва трепетавшая насмешка, и мне почудилось, как смутно чудилось и прежде, что в глубине его непроницаемой души живет циничное презрение к покоренным им иноплеменникам.

– Значит, вы никогда не видели его мальчиков? – полюбопытствовал я.

– Не случилось.

– Вы, конечно, знаете, что старшего зовут Джордж. По-моему, он не такой умный, как младший, Гарри, но очень обаятельный. Думаю, он бы вам понравился.

– А где он сейчас?

– Его только что отчислили из Оксфорда. Наверное, дома. А Гарри еще в Итоне.

– Почему бы вам не привести Джорджа ко мне на ленч?

– Я предложу ему. Думаю, он с удовольствием придет.
– До меня дошли слухи, что он, так сказать, трудный ребенок.
– Ну, не знаю, не сказал бы. Он не захотел в армию, как мечталось старшим. Они бредили гвардией. А он вместо этого поступил в Оксфорд. Но бездельничал, промотал уйму денег и вообще прожигал жизнь. Но все это в порядке вещей.
– А за что его исключили?
– Не знаю. Да ничего особенного.
В эту минуту наш хозяин поднялся, и все мы двинулись вверх. Прощаясь, Ферди напомнил, чтобы я не забыл про его внучатого племянника.
– Позвоните, – попросил он, – и приходите в среду. Или в пятницу.

На другой день я отправился в Тильби. Это был дворец в елизаветинском стиле, окруженный громадным парком, где бродили рыжие олени, и из дворцовых окон открывался широкий вид на холмистые просторы. Казалось, вся земля, сколько хватало глаз, принадлежит Блэндам. Надо думать, арендаторы считали сэра Адольфуса образцовым хозяином, ибо нигде мне не случилось видеть такого порядка на фермах: амбары и коровники блестели как стеклышко, свинарники были просто загляденье, трактиры словно сошли со старинных английских акварелей, а живописность построенных им коттеджей прекрасно дополнялась удобствами. Наверное, вести хозяйство с таким размахом стоило бешеных денег, но, к счастью, они у него были. За парком – могучими старыми деревьями (и полем для гольфа в девять лунок) – ухаживали, как за садом, а раскинувшиеся вокруг плодовые сады являлись гордостью округа. Величественное здание с островерхой крышей и двустворчатыми окнами было отреставрировано самым знаменитым английским архитектором и любовно, со знанием дела обставлено леди Блэнд в прекрасно подобранном стиле.

– У нас тут очень просто, – говорила она. – Самый обычный английский деревенский дом.

Столовую украшали старинные английские картины со сценами охоты, а чиппендейловские стулья стояли целое состояние. В гостиной висели портреты кисти Рейнолдса и Гейнсборо, а также пейзажи Старого Крома и Ричарда Уилсона. Даже на стенах моей спальни, в центре которой высилась кровать под пологом, красовались акварели Биркета Фостера. Дом был очень хорош, и гостить тут было удовольствием. Но, как бы ни огорчилась Мюриел Блэнд, узнай она об этом, дому странным образом недоставало именно того, чего она больше всего добивалась. Здесь и на миг не возникало ощущения, что это истинно английское жилище. Все время чувствовалось, что каждая мелочь тщательно подобрана и идеально вписывается в целое. В столовой не хватало унылых академических портретов, которые висели бы бок о бок с холстами Карло Дольчи, вывезенными прапрадедом из его первого европейского вояжа; в гостиной – многочисленных и трогательно неуместных акварелей какой-нибудь двоюродной бабушки. Не видно было также неизбежного уродливого викторианского дивана, который стоял бы тут с незапамятных времен и потому не мог быть выброшен (никому бы и в голову не пришло), недоставало стульев с вязаными салфетками, над которыми во времена Первой всемирной выставки усердно трудилась незамужняя дочь тогдашнего владельца. Здесь царила красота, но не было души.

И все же до чего тут было уютно, и как хорошо ухаживали за гостями! Как заботливо относились к ним Блэнды! Пожалуй, они и в самом деле любили людей. Они были великодушны и сердечны. Больше всего им нравилось собирать у себя жителей графства, и хотя поместье принадлежало им каких-нибудь лет двадцать, не больше, они надежно утвердились в сердцах соседей. Если бы не роскошь и не передовые способы ведения хозяйства, можно было подумать, что их предки владели поместьем на протяжении веков.

Фредди окончил Итон и Оксфорд. Сейчас ему было лет пятьдесят с небольшим. Приятный в обхождении, изысканный и, полагаю, чрезвычайно умный, держался он немного

скованно. Он был замечательно элегантен, но как-то не по-английски. Седовласый, с седой бородкой клинышком, прекрасными темными глазами и орлиным носом, хорошего мужского роста, он больше напоминал важного иностранного дипломата, чем еврея. Личность волевая, он почему-то, несмотря на сопутствовавшую ему всегда удачу, навевал меланхолию. Успехи его лежали в сфере финансов и политики; по части же охоты он, несмотря на все свои старания, никогда не блистал. Хотя он много лет выезжал с гончими, наездником был никудышным и, наверное, испытал облегчение, внушив себе в конце концов, что из-за неотложных дел и солидного возраста вынужден оставить это занятие. У него бывали прекрасные охотничьи выезды, и тогда он устраивал великолепные приемы, но сам стрелял неважно и, несмотря на собственное поле в парке, немногого добился в гольфе, так и не став страстным любителем. Однако он слишком хорошо знал, как высоко ценится все это в Англии, и потому горько сокрушался из-за своих спортивных неудач. Но ничего, Джордж призван был искупить его разочарование.

В гольфе Джордж не знал себе равных, и хотя не слишком жаловал теннис, игроком был выше среднего; Блэнды дали ему ружье, как только он достаточно подрос, чтоб удержать его в руках, и из него вышел отличный стрелок; на пони его усадили в двухлетнем возрасте, и, наблюдая за тем, как он садится в седло, Фредди понимал, что в тот миг, когда собака делает стойку, мальчик испытывает восторг, а не противное сосущее чувство где-то под ложечкой, которое всегда превращало для него, Фредди, охоту в сущую пытку, с каким бы мрачным упорством он ни преследовал лису. Джордж был такой высокий, статный, красивый, голубоглазый, с такими прекрасными светло-каштановыми кудрями – просто совершенный образчик молодого англичанина. И как и положено таковому, отличался подкупающим чистосердечием. Нос у него был прямой, правда, немножко толстоватый, губы тоже слишком пухлые и чувственные, но ровные зубы сверкали белизной, а гладкая кожа напоминала оттенком слоновую кость. Он был светом отцовских очей. Своего младшего сына Фредди любил не в пример меньше. Коренастый и широкоплечий, Гарри был силен для своего возраста, но светившиеся умом черные глаза, жесткие, темные волосы и длинный нос выдавали его происхождение. Фредди обращался с ним сурово, порою даже нетерпеливо, а Джорджу все прощалось. Гарри предстояло войти в дело, у него для этого были и мозги, и хватка, а Джордж – наследник. Джордж будет английским джентльменом.

Отец подарил ему на день рождения дорожный велосипед, и Джордж предложил подвезти меня от станции. Катил он страшно быстро, и мы добрались раньше других гостей. Блэнды сидели на лужайке, чай был накрыт под могучим кедром.

– Кстати, – объявил я почти сразу, – на днях я видел Ферди Рабенстайна, и он просил привести к нему на ленч Джорджа.

По дороге я не стал говорить Джорджу о приглашении, ибо полагал, что раз в семейных отношениях царит холод, лучше сначала спросить у родителей.

– А это еще кто такой? – удивился Джордж.

Как преходяща людская слава! Двадцать – тридцать лет назад подобный вопрос показался бы неумной шуткой.

– В своем роде твой дедушка. Двоюродный.

Как только я упомянул имя Ферди, родители многозначительно переглянулись.

– Кошмарный старик, – бросила Мюриел.

– По-моему, Джорджу совершенно незачем возобновлять отношения, которые были полностью прерваны еще до того, как он родился, – сурово отрезал Фредди.

– Мое дело – передать порученное, – сказал я, чувствуя, что меня поставили на место.

– Не желаю знакомиться с этим господином, – заявил Джордж.

Тут появились остальные гости, и разговор сам собою прервался, а потом Джордж пошел играть в гольф с каким-то своим оксфордским приятелем.

Тема эта всплыла снова лишь на следующий день. Утром мы с Фредди сыграли бесцветную партию в гольф, после полудня – несколько сетов того, что называют дачным

теннисом, после чего я устроился на террасе напротив уединившейся там Мюриел. В Англии так часто стоит ненастная погода, что только справедливо, чтобы выдавшийся погожий денек был самым прекрасным на всем белом свете, и этот июньский вечер был само совершенство. Безоблачное небо сияло, воздух благоухал, перед нами простирались зеленые холмы и леса, а вдали виднелись красные крыши домиков и серая башня сельской церкви. В такой день жить на свете – само по себе счастье. В голове лениво проплывали обрывки стихов. Мы с Мюриел перескакивали с одной темы на другую.

– Надеюсь, вы не осуждаете нас за то, что мы не хотим пускать Джорджа к Ферди, – вырвалось вдруг у нее без всякой связи с предыдущим. – Он ведь ужасный сноб, правда?

– Разве? Никогда не замечал, он всегда был очень добр ко мне.

– Мы уже двадцать лет не видимся. Фредди так и не простил ему его поведения во время войны. По-моему, это так непатриотично, в конце концов, всему есть предел. Вы, наверное, знаете, он наотрез отказался менять свою немецкую фамилию. И это при том, что Фредди член парламента и отвечал за вооружение. Да и все остальное тоже просто невыносимо. Не знаю, зачем ему понадобился Джордж. Ферди не может ничего к нему чувствовать.

– Он старый человек, а Джордж и Гарри – его внучатые племянники. Должен же он кому-то оставить деньги.

– Уж лучше мы обойдемся без его денег, – холодно парировала Мюриел.

Мне, разумеется, было совершенно все равно, пойдет Джордж на ленч к Ферди Рабенстайну или нет, и хотелось только одного: чтобы Блэнды больше не заговаривали со мной на эту тему, но они, видимо, обсуждали ее между собой, и Мюриел считала, что обязана мне отчетом.

– Вы ведь знаете, у Ферди есть еврейская кровь, – обронила она.

И бросила на меня пронзительный взгляд. Мюриел была довольно крупной блондинкой, склонной к полноте и тратившей немало времени, чтоб обуздать ее. В молодости она была очень хороша собой и все еще сохраняла миловидность, но ее круглые голубые, чуть нависшие глаза, мясистый нос, характерный овал лица, линия затылка и излишняя экзальтация свидетельствовали о ее национальности, – англичанка, даже самая светловолосая, выглядела бы совсем иначе. Однако ее реплика была рассчитана на то, что я, само собой, считаю ее англичанкой. Я ответил осторожно:

– Теперь это нередкий случай.

– Конечно. Тут не о чем долго рассуждать. В конце концов, мы англичане. Нельзя быть больше англичанином, чем Джордж, – и внешне, и по манерам, и по всему. Я хочу сказать, что он прекрасный охотник и все прочее. Не вижу никакого резона в том, чтобы он знал с евреями. Что из того, что кто-то из них доводится ему дальним родственником?

– Сегодня в Англии трудно не знаясь с евреями, не так ли?

– Ну да, в Лондоне с ними постоянно встречаешься. И среди них попадаются очень милые люди. Такая артистичная нация. Не стану говорить, что мы с Фредди нарочно их избегаем, – это было бы уж слишком. Но просто так сложилось, что никого из них мы не знаем близко. А тут просто и нет никого такого.

Я не мог не восхищаться убедительностью ее речей. И ничуть бы не удивился, если бы мне сказали, что она искренне верит каждому произнесенному ею слову.

– Вы говорите, что Ферди может завещать Джорджу свои деньги. Кстати говоря, навряд ли у него их так уж много. Перед войной у него было приличное состояние, но в наше время это уже ничто. Кроме того, мы надеемся, что Джордж пойдет в политику, когда немного возмужает. Вряд ли его избирателям понравится, если он будет наследником некоего мистера Рабенстайна.

– Разве Джордж интересуется политикой? – задал я встречный вопрос, чтобы уйти от разговора.

– О, очень на это уповаю. В конце концов, у семьи есть свой избирательный округ. Верное место от партии консерваторов. Не будет же Фредди всю жизнь тянуть лямку в палате

общин!

Мюриел была неподражаема. О семейном избирательном округе она говорила так, словно его представляли уже двадцать поколений Блэндов. Однако в ее словах я впервые уловил намек на то, что честолюбие Фредди не удовлетворено.

– Должно быть, Фредди перейдет в палату лордов, когда Джордж достаточно повзрослеет, чтобы стать членом парламента?

– Партия многим нам обязана.

Мюриел была католичкой и любила вспоминать, что воспитывалась в монастыре: «Чудесный народ эти монахини. Я всегда говорила, что, если бы у меня была дочь, я бы тоже послала ее в монастырь». Однако ей нравилось, чтобы ее прислуга принадлежала к англиканской церкви, и воскресными вечерами нас угощали тем, что называлось «ужин»: холодной рыбой и мороженым на десерт, так как слуг отпускали в церковь. Вот и в тот вечер нам подавали два лакея вместо четверых. Когда трапеза закончилась, было еще светло, и, закулив сигары, мы с Фредди долго прогуливались по террасе в сгущавшихся сумерках. Полагаю, Мюриел пересказала ему наш разговор; видимо, его все еще беспокоило, что он запретил Джорджу встречаться с двоюродным дедом, но, будучи натурой более тонкой, чем супруга, Фредди завел об этом речь издалека. Он стал говорить, что его очень тревожит Джордж. Отказ служить в армии страшно разочаровал семью.

– Мне кажется, ему должна бы прийтись по вкусу такая жизнь, – произнес Фредди.

– А как бы ему пошел гвардейский мундир!

– Может, он еще согласится? – простодушно подхватил Фредди. – Не понимаю, как он сумеет побороть искушение.

В Оксфорде Джордж предавался полному безделью и, хотя отец назначил ему весьма приличное содержание, залез в чудовищные долги; в довершение всех бед, его исключили. Но хотя Фредди говорил об этом с явной досадой, видно было, что он очень гордится своим шалопаем сыном, которого любит страстной – не по-английски страстной – любовью, и в глубине души ему льстит, что сын у него такой удалец.

– Почему это вас так огорчает? – удивился я. – Ведь на самом деле вам не так уж важно, получит Джордж диплом или нет.

– Вообще-то говоря, совсем не важно, – подтвердил со смешком Фредди. – Я всегда считал, что Оксфорд нужен только затем, чтоб люди знали, что вы там были. И позволю себе заметить, Джордж ничуть не больше сорвиголова, чем остальные юноши его круга. Меня если что и беспокоит, так это будущее. Он чертовски ленив. По-моему, он вообще ничего не хочет, только веселиться.

– Ну, он еще очень молод.

– Политикой он не интересуется. Он очень спортивен, по спорт тоже его не интересует. Единственное, что он всегда готов делать, это брэнчать на пианино.

– Довольно безобидное занятие.

– Да, ничего не имею против, но не может же он бить баклуши бесконечно. Ведь в один прекрасный день все это перейдет к нему. – И Фредди описал рукой широкий круг, словно желал обнять все графство (но мне доподлинно известно, что он владел им лишь частично). – Я очень беспокоюсь – он должен быть готов взять на себя ответственность. Мать так гордится им, а я хочу только одного: чтобы он стал английским джентльменом.

Фредди посмотрел на меня искоса, словно хотел прибавить что-то еще, но побоялся, что я сочту его слова смешными. Однако у писателей есть преимущество перед всеми остальными: хотя люди считают, что дело это самое пустое, они часто говорят нам то, в чем никогда не признались бы равным по положению. И он решил рискнуть:

– Знаете, я нахожу, что в современном мире греческий идеал жизни ни в ком не воплощается так полно, как в английском сельском джентльмене, который возделывает свои земли. По-моему, такая жизнь прекрасна, как произведение искусства.

Я не мог не улыбнуться, ибо в наши дни английский сельский джентльмен не может и шагу ступить, если не вложит кругленькую сумму в американские облигации, – но улыбнулся

я сочувственно. Мне подумалось, что есть даже что-то трогательное в том, что еврей-финансист лелеет в груди такую романтическую грезу.

– Я хотел, чтобы он стал хорошим помещиком. Хотел, чтобы он участвовал в делах своей страны. Хотел, чтобы из него получился заправский охотник.

«Остолоп несчастный!» – подумал я, но вслух спросил:

– Ну, и какие планы у вас теперь насчет Джорджа?

– Вроде бы у него есть склонность к дипломатии. Мы думаем послать его в Германию – учить язык.

– Отличная мысль! Как я сам не додумался!

– Он почему-то вбил себе в голову, что хочет в Мюнхен.

– Прекрасное место!

Вернувшись на другой день в Лондон, я почти тотчас позвонил Ферди:

– Мне очень жаль, но Джордж не сможет прийти в среду на ленч.

– А в пятницу?

– И в пятницу тоже. – Я решил, что тут незачем разводить антимонии. – Дело в том, что его родители не в восторге от этой идеи.

На миг повисло молчание, потом он сказал:

– Понятно. Но вы ведь все равно придете?

– Надеюсь.

Итак, в среду, в половине второго я свернул к дому на Керзон-стрит. Ферди встретил меня с подчеркнутой любезностью, столь для него характерной. Он даже не упомянул о Блэндах. Мы расположились в гостиной, и я не мог не подивиться про себя безошибочному вкусу этой семьи в выборе предметов искусства. В зале их было больше, чем следовало по законам современной моды, но если золотые табакерки за стеклянными дверцами и французские фарфоровые безделушки не радовали мой взор, то потому лишь, что у меня другие пристрастия в искусстве, хотя в своем роде то были, безусловно, отборные экземпляры; гостиничный гарнитур Людовика XV в прелестную *petit point*,¹ должно быть, тоже стоил кучу денег. Однако, если висевшие на стенах работы Ланкре, Патера и Ватто не слишком меня трогали, я тем не менее не мог не видеть, как они хороши сами по себе. То было подходящее обрамление для этого старого великосветского денди, оно отвечало его времени. Вдруг отворилась дверь, и слуга доложил о приходе Джорджа. Ферди заметил мое удивление и торжествующе улыбнулся.

– Очень рад, что вы в конце концов смогли прийти, – сказал он, пожимая Джорджу руку.

Я заметил, что он окинул своего внучатого племянника, которого видел впервые в жизни, оценивающим взглядом. Джордж был очень элегантно одет: в короткий черный пиджак, брюки в полоску и двубортный жилет – по последнему слову моды. Такие жилеты хорошо выглядели только на высоких, худощавых, с немного впалым животом. Я ничуть не сомневался, что Ферди уже определил, у кого Джордж заказывает платье, где покупает белье и галстуки, и, оценив, одобрил его выбор. Такой изящный и лощеный, в ловко сидевшем на нем костюме, Джордж и впрямь был чудо как хорош. Мы перешли в столовую. У Ферди был природный дар общения, и юноша почувствовал себя в своей стихии, но от меня не ускользнуло, что Ферди внимательно к нему приглядывается, и вдруг, не знаю уж почему, он стал рассказывать еврейские анекдоты. Рассказывал он их со вкусом, с обычными своими выразительными гримасами и жестами. Я видел, что Джордж вспыхнул и, хотя не может удержаться от смеха, сгорает со стыда. Я не мог понять, какая муха укусила Ферди, чем вызвана его бестактность. А тот, не спуская глаз с Джорджа, нанизывал одну историю на другую. Казалось, этому не будет конца. Может быть, подумалось мне, по какой-то недоступной моему разумению причине, муки мальчика доставляют ему злорадное удовольствие. Наконец мы поднялись наверх, и я, чтобы снять напряжение, попросил Ферди сыграть. Он сыграл три или четыре небольших вальса все с той же грациозной легкостью, в

¹ В крапинку (фр.).

привычном чеканном ритме. Закончив, он обернулся к Джорджу.

– Вы играете? – спросил он.

– Да, немного.

– Может быть, сыграете нам что-нибудь?

– Я, к сожалению, играю только классику. Вам это, наверное, неинтересно.

Губы Ферди дрогнули в улыбке, но он и не подумал настаивать. Я стал собираться домой, и Джордж присоединился ко мне.

– Что за мерзкий старый еврей! – вырвалось у него, как только мы оказались на улице. – Меня просто мутило от его анекдотцев.

– Это его коронный номер. Он всегда их рассказывает.

– А вы бы тоже рассказывали, если бы были евреем?

Я лишь пожал плечами.

– А как случилось, что вы все-таки пришли на ленч? – поинтересовался я.

Джордж прыснул. Жизнерадостный мальчик, с чувством юмора, он сразу забыл свое раздражение против двоюродного деда.

– Он пришел с визитом к бабушке. Вы ведь не видели бабушку, правда?

– Нет, ни разу.

– Она командует папой, словно мальчиком в коротких штанишках. Бабушка сказала, что я должен пойти на ленч к деду Ферди, а ее слово – закон.

– Вот оно что.

Неделю-другую спустя Джордж уехал в Мюнхен – учиться немецкому языку. А мне пора было отправляться в путешествие. В Лондон я возвратился лишь весной следующего года и уже через несколько дней сидел на обеде у Блэндов рядом с Мюриел. Я осведомился, как дела у Джорджа.

– Он еще в Германии, – последовал ответ.

– Я тут прочел в газетах, что в Тильби будет великий пир в честь его совершеннолетия.

– Мы думаем позвать всех арендаторов, а они, со своей стороны, собираются сделать Джорджу подарок.

Она была менее говорлива, чем обычно, но я не придавал этому значения. Ритм жизни у нее был напряженный, – скорее всего она просто устала. Но я знал, что она любит поговорить о сыне, и потому продолжал:

– Джорджу, наверное, нравится в Германии?

Она долго не отвечала. Я перевел на нее взгляд и с удивлением заметил, что в глазах у нее стоят слезы.

– По-моему, Джордж сошел с ума.

– Как это понять?

– Мы страшно волнуемся. Фредди так сердится, что даже не хочет об этом говорить. Не знаю, что и делать.

Мне, конечно, тут же пришло в голову, что Джордж, как и очень многие молодые англичане, которые уезжают учиться за границу, оказавшись в немецкой семье, скорее всего влюбился в дочку хозяев и вознамерился жениться. Блэнды же, как я сильно подозревал, рассчитывали, что Джордж сделает блестящую партию.

– А что случилось? – поинтересовался я.

– Он хочет стать пианистом.

– Кем-кем?

– Концертирующим пианистом.

– Откуда такая странная идея?

– Бог его знает. Мы ничего не подозревали. Считали, что он готовится к экзамену. Я поехала с ним повидаться. Думала, приятно будет убедиться, что он делает успехи, как положено. О Господи, на кого он стал похож! А какой был всегда элегантный, просто плакать хочется. Он сказал мне, что не собирается сдавать экзамен и никогда не собирался, что

дипломатическую службу он выдумал, чтобы мы отпустили его в Германию, потому что хочет заниматься музыкой.

– А способности у него есть?

– Есть, нет, какая разница! Будь он даже гениален, как Падеревский, мы все равно не можем ему позволить колесить с концертами. Никто не вправе обвинить меня в том, что я не люблю искусство, и Фредди тоже, у нас всегда было много знакомых музыкантов, но Джордж должен занять такое положение, что это просто исключается. Мы так мечтали, что он будет заседать в парламенте. Ведь со временем он станет очень богатым человеком.

– А вы ему говорили все это?

– Конечно. Он только смеялся в ответ. Я сказала, что он разобьет отцу сердце. А он стал мне объяснять, что отец всегда может переключиться на Гарри. Я очень люблю Гарри, он чертовски умный мальчик, всегда было ясно, что его дело – бизнес, но даже я, его мать, вижу, что у него нет таких козырей, как у Джорджа. И знаете, что он мне на это ответил? Что если отец положит ему пять фунтов в неделю, он откажется от всего в пользу Гарри и к Гарри перейдет отцовское наследство, титул баронета и все-все. Он сказал, что если уж наследный принц Румынии отрекся от трона, почему бы ему не отречься от баронетства. Но это невозможно. Что бы он ни вытворял, он все равно будет третьим баронетом, а если Фредди удостоится звания пэра, унаследует его по смерти отца. Вы можете себе представить, он даже хочет вместо фамилии Блэнд взять какую-то кошмарную немецкую фамилию!

– Какую именно? – не удержался я.

– Блейкогель или что-то в этом роде, – пробормотала она.

Я тотчас сообразил, что это за фамилия. Мне вспомнились слова Ферди о том, что Ханна Рабенстайн вышла замуж за Альфонса Блейкогеля, который впоследствии стал сэром Альфредом Блэндом, первым баронетом. Все это было в высшей степени странно. Я подивился про себя, что приключилось с милым и притом типично английским юношей, которого я видел всего каких-нибудь несколько месяцев назад.

– Конечно, когда я вернулась домой и рассказала Фредди, он вышел из себя. Никогда не видела его в таком неистовстве. Он просто брызгал слюной от бешенства. И тут же отправил Джорджу телеграмму, чтобы тот немедленно ехал домой, а Джордж тоже прислал телеграмму, что не может бросить занятия.

– Он много занимается?

– Целыми днями. Это-то и бесит больше всего. Он в жизни своей пальцем о палец не ударил. Фредди всегда говорил, что лень раньше его родилась.

– Н-да.

– Тогда Фредди телеграфировал, что, если он не приедет, не получит больше денежных переводов, а Джордж телеграфировал в ответ: «И не надо». Это переходит все границы. Не представляю, на что способен Фредди, если довести его до белого каления.

Я знал, что Фредди унаследовал большое состояние, знал также, что он его заметно приумножил, и я прекрасно мог себе представить, что за внешним обликом обходительного и приветливого сквайра Тильби скрывается безжалостный делец. Он привык все делать по-своему, и легко верилось, что, когда ему перечат, он бывает крут и беспощаден.

– Джордж получал от нас очень щедрое содержание. Вы же знаете, каким он был ужасным мотом. Мы думали, он долго не продержится. И в самом деле, не прошло и месяца, как он написал Ферди и попросил взаймы сто фунтов. Ферди явился к моей свекрови – вы, наверное, знаете, она его сестра, – и спросил, что все это значит. Хотя они с Фредди уже двадцать лет не разговаривают, Фредди отправился к нему домой и умолял не высылать Джорджу ни пенса, и Ферди обещал. Не знаю, как Джордж сводит концы с концами. Я понимаю, что Фредди прав, но не нахожу себе места. Если б я не дала Фредди честное слово, что ничего не буду посылать в Мюнхен, я бы вложила в письмо банкноту-другую, просто на крайний случай. Понимаете, страшно подумать, что он иногда недоедает.

– Ему не повредит скромная жизнь.

– Мы попали в жуткий переплет. Сделали кучу всяких приготовлений, чтобы

отпраздновать его совершеннолетие, я разослала несколько сот пригласительных билетов, и тут Джордж заявляет, что приезжать не собирается. У меня просто голова пошла кругом. Я писала, посылала телеграммы. Сама хотела поехать в Германию, но Фредди меня не пустил. Я буквально ползала перед Джорджем на коленях. Умоляла не ставить нас в дурацкое положение. Понимаете, такие вещи очень трудно объяснить. Тут вмешалась моя свекровь. Вы ведь, кажется, с ней не знакомы? Ей очень много лет, невозможно поверить, что она родила Фредди. Она немка по национальности, но из очень хорошей семьи.

– Вот как?

– Честно говоря, я ее побаиваюсь. Она живо привела Фредди в чувство, а потом отправила Джорджу письмо. Написала, что, если он приедет домой на совершеннолетие, уплатит все его мюнхенские долги и обещает, что мы спокойно выслушаем все, что он хочет сказать. Он согласился и должен приехать на следующей неделе. Но скажу вам по секрету, я ничего хорошего от этого не жду.

Она глубоко вздохнула.

Когда после обеда мы поднимались вверх, Фредди заговорил со мной:

– Я так понимаю, Мюриел рассказала вам о Джордже. Болван стоеросовый! Он меня выводит из себя. Подумать только, желает барабанить на рояле! Отличное занятие для джентльмена!

– Не забывайте, он еще очень молод, – сказал я, желая его успокоить.

– Ему чересчур легко все доставалось. Я всегда слишком потакал ему. Он ни в чем не знал отказа – что ни попросит, тут же и получит. Но теперь он у меня узнает, что к чему.

Блэнды с опаской отнеслись к рекламе праздника, и о том, что совершеннолетие Джорджа прошло в Тильби в полном соответствии с обычаями местной знати, я узнал из газет задним числом: обед и бал – для местного дворянства, холодные закуски в палатках и танцы на лужайках – для арендаторов. В Лондоне были заказаны дорогостоящие оркестры. В иллюстрированных журналах появились групповые фотографии Джорджа с семьей в момент вручения ему арендаторами добротного серебряного чайного набора. Собранные по подписке деньги предназначались на портрет именинника, но, поскольку его не было в Англии и позировать он не мог, вместо портрета был приобретен серебряный сервиз. В колонках светских сплетен я прочел, что отец подарил ему гунтера, мать – граммофон с автоматическим регулятором для переворачивания пластинок, бабушка, вдовствующая леди Блэнд, – «Британскую энциклопедию», а двоюродный дедушка Ферди Рабенстайн – «Мадонну с младенцем» Пеллегрини да Модена. Бросалось в глаза, что все подарки отличались массивностью – такие трудно сразу обратить в наличность. Коль скоро Ферди присутствовал на празднестве, я заключил, что сумасбродные выходки Джорджа способствовали примирению дяди и племянника. И не ошибся. Ферди отнюдь не улыбалось стать родственником профессионального музыканта. При первом же намеке на опасность для семейного престижа все сплотились, чтобы единым фронтом противостоять затеям Джорджа. Поскольку на празднике меня не было, о дальнейшем я знаю лишь из пересказов: что-то рассказал мне Ферди, что-то – Мюриел, потом и Джордж изложил свою версию событий. Блэнды очень уповали на то, что, вернувшись домой, снова попав в обстановку роскоши и изобилия и вновь став центром внимания, он сам поймет, как хорошо быть наследником громадного имения, и сдаст позиции. Они окружили его любовью. Ловили каждое слово. Зная его сердечную доброту, надеялись, что, если будут с ним ласковы, ему не хватит духу причинить им боль. Вроде бы само собою разумелось, что он не захочет возвращаться в Германию, и о чем бы ни шла речь, его включали в семейные планы. Джордж, в свою очередь, был не слишком словоохотлив. Он вроде бы веселился от души. Не подходил к роялю. Можно было подумать, что все идет прекрасно. На перебудораженное семейство снизошел мир. И вдруг однажды за завтраком, когда обсуждалось, в какой именно день недели их семью ждут на празднике под открытым небом, Джордж мягко предупредил:

– На меня не рассчитывайте. Я уезжаю.

– Как, почему? – взволновалась его мать.

– Пора вернуться к занятиям. В понедельник я уезжаю в Мюнхен.

Повисло страшное молчание: каждый порывался что-то сказать, но слишком боялся произнести что-нибудь не то, и чем дальше, тем труднее становилось нарушить тишину. До конца завтрака никто не сказал ни слова. Затем Джордж отправился в сад, а старшая леди Блэнд с Ферди и Мюриел с сэром Адольфусом перешли в утреннюю залу, где состоялся семейный совет. Мюриел рыдала. Фредди неистовствовал. И вдруг из гостиной донесся ноктюрн Шопена. Это играл Джордж. Видимо, объявив им о своем решении, он обратился к любимому инструменту за утешением, умиротворением и силой. Фредди сорвался с места:

– Пусть сейчас же прекратит этот шум! – закричал он. – Я не позволю ему играть в моем доме!

Мюриел позвонила в колокольчик и отдала распоряжение горничной:

– Передайте, пожалуйста, мистеру Блэнду, что у ее милости леди Блэнд страшно болит голова и мы просим его не играть.

Ферди как светского человека откомандировали вести переговоры. Он был уполномочен сделать определенные предложения. Если Джордж не хочет идти на дипломатическую службу, отец на этом не настаивает, но, если он пожелает баллотироваться в парламент, отец готов оплатить избирательную кампанию, купить ему квартиру в Лондоне и выплачивать пять тысяч в год. Должен признать, недурственное предложение. Не знаю, что именно Ферди сказал юноше. Наверное, рисовал радужную картину того, на какую широкую ногу живут в Лондоне молодые люди с такими деньгами. Не сомневаюсь, что картина получилась очень соблазнительная. Но Джордж не дрогнул. Просил он только об одном: чтобы ему давали пять фунтов в неделю на уроки и оставили в покое. Его не интересовало положение, которое он может занять в будущем. Не привлекала охота. Не волновала стрельба. Не нужно было место в парламенте. Не нужны миллионы. Не нужен титул баронета. И не нужно звание пэра. Ферди вышел от него явно взбешенный, так ничего и не добившись.

В тот же вечер после обеда произошло генеральное сражение. Фредди был человеком вспыльчивым и деспотичным – он не привык к неповиновению и грубо обругал Джорджа. Полагаю, в самом деле очень грубо. И резко оборвал женщин, пытавшихся хоть как-то смягчить его тон, наверное, впервые в жизни проявив сыновнее непослушание. На брань Джордж отвечал упрямством и угрюмостью. Решение принято, и, нравится оно отцу или нет, отступать он не намерен. Фредди не желал ничего слушать: он запрещает Джорджу возвращаться в Германию! Джордж напомнил, что ему уже двадцать один год и он сам себе хозяин. Поедет, куда считает нужным. Фредди поклялся, что не даст ему ни пенни.

– Чудно, я сам себе заработаю.

– Заработаешь? Ты, который в жизни шагу лишнего не сделал? Чем же, интересно, собираешься ты зарабатывать?

– Стану старьевщиком, – расхохотался Джордж.

Они просто онемели от ужаса. Мюриел так растерялась, что выпалила, не подумав:

– Как еврей?

– А что, разве я не еврей? А ты? Ты что, не еврейка? А папа не еврей? Мы все евреи, вся наша теплая компания, и все это прекрасно знают. Какого дьявола прикидываться, что это не так?

И тут случилось страшное: Фредди разрыдался. Боюсь, он повел себя отнюдь не как сэр Адольфус Блэнд, баронет, член парламента и добрый старый английский джентльмен, которым ему так хотелось быть, а как чрезмерно эмоциональный Адольф Блейкогель, который любил своего сына и плакал от горькой обиды, ибо великие надежды, которые он полагал в нем, разбились вдребезги и мечта всей его жизни пошла прахом. Рыдал он шумно, громко всхлипывая, дергая себя за бороду, ударяя кулаками в грудь и раскачиваясь из стороны в сторону. Тут все они заплакали: и старая леди Блэнд, и Мюриел, и Ферди, который шмыгал носом, сморкался и утирал слезы, струившиеся по щекам, и даже Джордж. Конечно,

всем им было очень больно, но на наш суровый англо-саксонский вкус это не лишено было доли комизма. Никто никого не пытался утешать. Они заливались слезами и не могли остановиться. Вечер был испорчен.

Однако это ничего не изменило. Джордж был непреклонен. Отец перестал с ним разговаривать. Сцены продолжались. Мюриел пыталась воззвать к сыновней жалости, но Джордж оставался глух к ее слезным мольбам; казалось, ему ни до чего нет дела: пусть его решение разобьет ей сердце, пусть убьет отца – его это не трогает. Как спортсмен и светский человек, Ферди пробовал зайти с другой стороны – Джордж в ответ дерзил, позволял себе личные выпады. Старая леди Блэнд, с помощью крепкого здравого смысла и по-немецки гортанных речей, пыталась переспорить внука, но он не поддавался доводам рассудка. И все-таки это она, в конце концов, нашла выход из положения. Она заставила Джорджа признать, что в случае, если у него нет таланта, глупо бросаться теми чудесными дарами, которые мир готов сложить к его ногам. Да-да, он верит, что талант у него есть, но вдруг он ошибается? Не стоит быть посредственным пианистом, единственное, что его может извинить и оправдать, – это гениальность. Если он гениален, семья не вправе становиться у него на пути.

– Но я же не могу продемонстрировать свою гениальность прямо сейчас, – возразил Джордж. – Для этого нужно учиться годы и годы.

– А ты уверен, что готов на такое?

– Это мое единственное желание. Я буду работать как вол. Я хочу только одного – чтобы мне дали попробовать.

Тогда она предложила следующее. Отец твердо решил, что не даст ему ни пенни, но, с другой стороны, ясно, что семья не может допустить, чтобы мальчик голодал. Он просит пять фунтов в неделю. Хорошо, она сама даст ему эти деньги. Пусть вернется в Германию и занимается еще два года. Но когда выйдет срок, он должен приехать домой, они пригласят какого-нибудь понимающего и беспристрастного человека прослушать его, и если этот человек скажет, что Джорджа ожидает блестящая будущность, никто больше не будет чинить ему препятствий. Ему окажут всяческую помощь и поддержку и предоставят самые лучшие возможности. Но если, с другой стороны, этот человек решит, что природные способности Джорджа не обещают в будущем триумфа, он должен дать честное слово, что оставит всякую мысль о профессиональных занятиях музыкой и во всем подчинится воле отца.

Джордж просто ушам своим не поверил.

– Ты это серьезно, бабушка?

– Вполне.

– А папа согласится?

– Я об этом позабочусь, – ответила она.

Джордж сжал ее в объятиях и порывисто расцеловал в обе щеки.

– Бабушка, дорогая! – завопил он от радости.

– Да-да, но слово, твое слово...

Он клятвенно обещал, что будет неукоснительно следовать всем условиям договора. И через два дня уехал в Германию. Хотя отец и согласился – очень неохотно – с его отъездом (да и как он мог не согласиться?), помириться с сыном он отказался наотрез и не захотел проститься. Полагаю, что никаким другим способом он не мог причинить себе столько боли. Позволю себе сделать одно банальное замечание: не странно ли, что люди, которым суждено жить так недолго, в таком холодном и враждебном мире, из кожи вон лезут, чтобы навлечь на свою голову побольше горя?

Джордж поставил условие, чтобы в течение двух лет учебы никто из членов семьи не навещал его, и потому Мюриел, узнав, что в Вену (куда меня призывали дела) я еду через Мюнхен, вполне естественно, попросила провести сына – это было за несколько месяцев до конца назначенного Джорджу срока. Ей хотелось получить сведения из первых рук. Она сообщила его адрес, и я заранее написал ему, что проведу день в Мюнхене и приглашаю его

на ленч. Когда я приехал в гостиницу, мне тотчас вручили ответ Джорджа. Он писал, что должен играть весь день и не может прерваться на ленч, но, если я приду к нему в студию часов в шесть, он с радостью меня примет и, если у меня нет более заманчивых планов, с удовольствием проведет со мной вечер. Таким образом, в начале седьмого я прибыл по указанному адресу. Джордж жил на третьем этаже большого доходного дома. Из его квартиры доносились звуки фортепьяно. Когда я позвонил, они смолкли, и Джордж распахнул двери. Я с трудом его узнал. Он страшно растолстел. Отпустил длинные волосы, курчавившиеся на голове в живописном беспорядке, щеки украшала по меньшей мере трехдневная щетина. На нем были заношенные широкие фланелевые штаны, тенниска и домашние шлепанцы. Вид у него был какой-то несвежий, и под ногтями чернели каемки грязи. Как разительно переменялся со времени нашей последней встречи опрятный, стройный юноша, так элегантно выглядевший в своем прекрасном костюме! Мне невольно подумалось, что Ферди пришел бы в ужас, посмотри он на него сейчас. Студия была просторная и пустая; на стенах висело несколько необрамленных холстов, выполненных в ярко выраженной кубистической манере, на полу стояло несколько очень потрепанных кресел и большой рояль. Всюду валялись книги, старые газеты и художественные журналы. Комната была грязная, неприбранная, пропахшая перестоявшим пивом и застоявшимся табачным дымом.

– Вы один тут живете? – спросил я.

– Да. Дважды в неделю приходит уборщица. Завтрак и ленч я готовлю себе сам.

– Вы умеете готовить?

– Да нет, обхожусь хлебом с сыром и бутылкой пива, а обедаю в Bierstube.¹

Я с удовольствием заметил, что он искренне рад нашей встрече. Мне показалось, что он в прекрасном настроении и совершенно счастлив. Он справился о родных, и мы стали болтать о том о сем. Он сказал, что два раза в неделю ходит на урок, а все остальное время упражняется дома. Признался, что работает до десяти часов в день.

– Какое перерождение! – заметил я.

Он рассмеялся.

– Папа всегда говорил, что лень раньше меня родилась. Но на самом деле это неправда. Просто не хочется стараться, когда занимаешься чем-то неинтересным.

Я полюбопытствовал, как у него идут дела. Он вроде был доволен своими успехами, и я попросил его сыграть.

– Нет, нет, не сейчас. Я совершенно выдохся, целый день не отходил от инструмента. Давайте пойдем в город пообедаем, а потом вернемся сюда, и я вам поиграю. Я всегда обедаю в одном и том же месте, у меня там несколько знакомых студентов, и вообще там весело.

Мы тотчас стали собираться. Он надел носки, туфли, натянул старую куртку для гольфа, и мы бок о бок двинулись по широким тихим улицам. День стоял свежий, холодный. Джордж шел бодрым шагом. Он обвел взглядом улицу и издал вздох удовлетворения.

Люблю Мюнхен, – признался он. – Это единственный город в мире, где даже воздух пропитан искусством. Ведь в конце-то концов на свете нет ничего важнее искусства, согласны? При одной мысли, что надо будет вернуться домой, мне становится тошно.

– Боюсь, все равно придется.

– Я знаю. Поеду, конечно, но пока не настанет время, не хочу и думать об этом.

– Когда поедете, вам не повредит постричься. Простите, что говорю это, но у вас слишком богемный вид даже для артиста – вы утрируете.

– Вы, англичане, страшные филистеры, – съязвил он.

Он привел меня в стоявшую на боковой улочке огромную ресторацию, переполненную ужинающими даже и этот ранний час и обставленную с немецкой средневековой тяжеловесностью. В углу – далеко от входной двери и свежего воздуха – для Джорджа и его друзей был оставлен покрытый красной скатертью столик. Среди них были поляк, изучавший восточные языки, студент-философ, художник из Швеции, должно быть, автор

¹ Пивная (нем.).

кубистических полотен, которые я видел у Джорджа, и молодой человек, который, щелкнув каблуками, представился как Hans Reiting, Dichter, то есть Ганс Райтинг, поэт. Никому из них не перевалило за двадцать два года, и я подумал, что плохо вписываюсь в их компанию. К Джорджу все они обращались на ты, и я отметил про себя исключительную свободу, с которой он изъяснялся по-немецки. Сам я давно не говорил на этом языке и сильно его подзабыл, поэтому мало участвовал в их оживленной беседе. Однако чувствовал я себя среди них превосходно. Говорили о литературе, об искусстве, о жизни, морали, автомобилях, женщинах. Взгляды у них были самые радикальные, и хотя тон был шутливый, говорили они совершенно серьезно. Мои сотрапезники презрительно отзывались обо всех хотя бы мало-мальски известных персонах, и единственное, на чем все они дружно сошлись во мнении, было то, что в этом сумасбродном мире лишь вульгарность может рассчитывать на успех. Они с увлечением обсуждали всякие профессиональные тонкости, возражали друг другу, кричали от возбуждения и чертыхались – они упивались жизнью.

Около одиннадцати часов мы с Джорджем направились к нему в студию. Мюнхен – из тех городов, что греховодничают исподтишка, и, за исключением Мариенплац, всюду было тихо и безлюдно. Когда мы пришли, он снял куртку и сказал:

– Вот теперь я вам поиграю.

Едва я опустился в продавленное кресло, как сломанная пружина тут же впилась мне в ягодицу, но я постарался занять по возможности удобную позицию и стал слушать. Джордж играл Шопена. Я слабо разбираюсь в музыке, именно по этой причине мне и дается так трудно эта история. Когда на концертах в Куинз-холл я читаю в антрактах программку, она для меня, что книга за семью печатями. Я ничего не понимаю в гармонии и контрапункте, и никогда не забуду, какое унижение испытал однажды, когда, приехав в Мюнхен на Вагнеровский фестиваль послушать «Тристана и Изольду», умудрился пропустить мимо ушей всю оперу. При первых же звуках увертюры мысли мои унеслись к моим писаниям и обратились на моих героев: они стояли передо мною как живые, я слышал их беседы, страдал и радовался вместе с ними; сменялись годы – я менялся тоже: восторгался чудом весны, дрожал от зимней стужи, голодал, любил, ненавидел, умирал. В антрактах я, должно быть, кружил по саду, ел Schinkenbrotchen,¹ запивая пивом, но ничего этого не помню. Единственное, что врезалось мне в память, – когда дали занавес, я вздрогнул и очнулся. Конечно, я пережил прекрасные минуты, но не мог не сокрушаться о собственной глупости: стоило ли так далеко ехать и тратить столько денег, если я не мог переключиться на то, что происходило на сцене?

Джордж все больше играл знакомые вещи. То был обычный концертный репертуар, который он исполнил в самой энергичной манере, и перешел к бетховенской «Аппассионате». Я и сам играл ее в далеком отрочестве, когда учился фортепьянной игре (успехи были самые скромные), и до сих пор помню каждую ее ноту. Что и говорить, это классика, великое произведение, кто станет отрицать? Но признаюсь, в столь поздний час она меня не тронула.

Она вроде «Потерянного рая» Мильтона: божественна, но как-то холодновата. «Аппассионату» Джордж тоже сыграл с большим подъемом. И сильно вспотел. В первые минуты я никак не мог понять, что мне мешает в его манере: что-то царапало слух, и вдруг до меня дошло: у него «расходятся» руки – левая чуть отстает от правой, из-за чего между басовым и скрипичным ключом то и дело слышится крохотное несовпадение, – но, повторяю, в музыке я невежда, и, быть может, все дело было в том, что Джордж выпил слишком много пива в этот вечер, или вообще мне это померещилось. Я постарался выжать из себя побольше комплиментов.

– Да нет, я знаю, нужно гораздо больше работать. Пока я только новичок, но ничего, мне это по силам. Я чувствую это всеми фибрами души. Пусть я потрачу десять лет, но стану пианистом.

Усталый, он встал из-за рояля. Время было уже за полночь, и я собрался уходить, но он

¹ Бутерброды с ветчиной (нем.).

и слышать ничего не желал. Откупорил несколько бутылок пива и закурил трубку. Ему хотелось поговорить.

– Вам тут хорошо? – спросил я.

– Очень, – ответил он совершенно серьезно. – Я бы хотел тут жить. Никогда мне не было так весело. Взять, к примеру, сегодняшний вечер – правда, было замечательно?

– Очень занятно. Но нельзя же оставаться вечным студентом. Ваши друзья повзрослеют и разъедутся.

– Ничего, приедут другие. Здесь всегда полно студентов и всякого другого народу.

– Но вы ведь тоже повзрослеете. Есть ли более жалкое зрелище, чем человек в возрасте, который подлаживается под молодежь? Взрослый человек, который строит из себя мальчика, втирается в их общество и врет себе, что они принимают его на равных, – что может быть смешнее? Это немыслимо.

– Но я чувствую себя здесь как рыба в воде. Бедный папа мечтает, чтобы я стал английским джентльменом, а у меня от этого мурашки по коже бегают. Какой из меня охотник? Охота, стрельба, да и крикет тоже – мне все это даром не нужно. Я просто притворялся.

– И надо сказать, очень убедительно.

– Пока я не приехал сюда, я сам не знал, что все это не настоящее. Мне нравилось в Итоне, да и в Оксфорде мы жили в свое удовольствие, но все равно я чувствовал, что я чужак. Роль я играл – не подкопаешься, но это потому, что актерство у меня в крови, а все-таки душа была не на месте. Дом на Гросвенор-стрит – наша законная собственность, за Тильби папа выложил сто восемьдесят тысяч фунтов, но – не знаю, поймете ли вы, что я хочу сказать, – мне все равно всегда казалось, что и эти дома, и обстановку мы сняли на сезон и что в один прекрасный день уложим вещи и уступим место настоящим хозяевам.

Я слушал его с большим вниманием, пытаюсь угадать, что из того, что он сейчас говорит, он и в самом деле смутно ощущал прежде, а что ему только кажется в новых, изменившихся обстоятельствах.

– Я раньше ненавидел, когда Ферди, мой двоюродный дедушка, рассказывал еврейские анекдоты. Мне казалось, ничего гнуснее быть не может. Зато теперь я понимаю: он просто спускал пары. Бог ты мой, какое напряжение – корчить из себя светского человека! Папе все же легче; правда, в Тильби ему приходится разыгрывать английского сквайра, но в городе он может быть самим собой. Папе хорошо. Но теперь я сорвал с себя маску и театральный костюм и наконец тоже могу быть самим собой. Какое облегчение! Признаюсь, недолюбливаю я вас, англичан. С вами никогда не знаешь, на каком ты свете. Вечно одна скука да условности. Вы никогда не даете себе воли. Да и не ощущаете вы ее, нет ее у вас в душе – воли, вы все такие перепуганные. Страшно боитесь сделать что-нибудь не так.

– Не забывайте, вы и сами англичанин, – пробормотал я.

Он в ответ рассмеялся:

– Кто, я? Я не англичанин. Во мне нет ни капли английской крови. Я еврей, и вы прекрасно это знаете, и к тому же – еврей немецкий. А я и не хочу быть англичанином. Я хочу быть евреем. Все мои друзья – евреи. Вы даже себе не представляете, как хорошо я себя чувствую среди них. Могу быть собой. Дома мы чего только не делали, чтобы не смешиваться с евреями. Мама – оттого, что она белокурая, – решила, что может покончить с еврейством, и все время притворялась, будто она англичанка. Какая чушь! А знаете, я получил столько удовольствия, когда гулял по еврейским кварталам Мюнхена, вглядывался в лица. И как-то раз во Франкфурте – евреев там тьма-тьмушка – я все ходил да глядел на мрачных стариков с крючковатыми носами, на толстых женщин в париках. Я чувствовал с ними такое родство, чувствовал, что я один из них, прямо хотелось расцеловать их всех. Они тоже поглядывали на меня; интересно, признавали они меня за своего или нет? Я страшно пожалел, что не знаю идиш. Так захотелось дружить с ними, бывать у них дома, есть кошерную пищу и все такое прочее. Я даже было пошел в сторону синагоги, да побоялся, что не знаю, как себя вести, и меня оттуда выдворят. Мне нравится самый запах гетто, и

ощущение жизни, и таинственность, и грязь, и запустение, и романтика. И я уже никогда не избавлюсь от тяги ко всему этому. Вот это и есть настоящее, а все остальное – кукольная комедия.

– Вы разобьете отцу сердце, – сказал я.

– Ну так ведь либо ему, либо себе. Почему бы ему не отпустить меня на все четыре стороны? У него есть Гарри. Гарри только рад будет стать помещиком в Тильби. И джентльмен из него получится в наилучшем виде. Понимаете, мама вбила себе в голову, что я должен жениться на англичанке. Гарри сделает это с большим удовольствием. Найдет себе отличную старинную английскую семью и женится за милую душу. В конце концов, я прошу так мало. Какие-то пять фунтов в неделю, а им остаются и титул, и парк, и картины Гейнсборо, и все остальные бирюльки.

– Все это так, но вы дали честное благородное слово вернуться через два года.

– И вернусь, – угрюмо проговорил он. – Лия Мэкерт обещала меня послушать.

– А что вы сделаете, если отзыв будет неодобрительный?

– Пущу себе пулю в лоб, – беззаботно отозвался он.

– Ну и очень глупо, – в тон ему ответил я.

– Скажите, а вы хорошо чувствуете себя в Англии?

– Нет, но дело в том, что я нигде хорошо себя не чувствую, – признался я.

Как и следовало ожидать, ему было не до меня.

– Мне противна самая мысль о возвращении. Теперь я знаю, как разнообразна жизнь, и ни за какие коврижки не соглашусь быть английским сельским джентльменом. Боже мой, какая это скучища!

– Деньги – очень недурная штука, а быть английским пэром, по-моему, весьма приятно.

– Деньги для меня ничего не значат. Я не могу купить на них то, что мне больше всего нужно. И потом, не знаю уж почему, но я не сноб.

Час был очень поздний, а мне на следующее утро нужно было рано вставать. Я подумал, что не стоит придавать особого значения словам Джорджа. Такую чепуху часто мелют молодые люди, когда неожиданно попадают в среду художников и поэтов. Искусство – напиток крепкий, и нужно иметь крепкую голову, чтобы не захмелеть. Божественный огонь сильнее всего пылает в тех, кто умеряет его ярость здравым смыслом. В конце концов, Джорджу еще нет и двадцати трех, а время – лучший учитель. Да и не я отвечаю за его будущее. Я пожелал ему доброй ночи и отправился пешком в гостиницу. На равнодушном небосклоне ярко сияли звезды. Утром я уехал из Мюнхена.

По приезде в Лондон я не стал докладывать Мюриел ни о том, что говорил Джордж, ни о том, как он выглядит, а лишь заверил ее, что он вполне здоров и счастлив, очень много играет и, на сторонний взгляд, жизнь ведет трезвую и примерную. А еще через полгода он вернулся домой, и я получил от Мюриел приглашение приехать в Тильби на уик-энд: Ферди должен был привезти Лию Мэкерт послушать Джорджа и очень просил, чтобы при этом присутствовал и я. Конечно, я принял приглашение. Мюриел встречала меня на станции.

– Как вы нашли Джорджа?

– Ужасно толстый, но вроде бы очень веселый. По-моему, он рад, что вернулся, и так нежен с отцом.

– Приятно слышать.

– Ах, друг мой, я так надеюсь, что Лии Мэкерт не понравится его игра. У нас у всех просто гора свалится с плеч.

– Боюсь, для него это будет страшным ударом.

– Вся жизнь состоит из ударов, – сухо возразила она, – и ничего, мы привыкаем с ними справляться.

Я не мог удержаться от иронической улыбки: мы ехали в «роллс-ройсе»; впереди, за перегородкой, рядом с личным шофером сидел лакей; на шее у нее поблескивала нитка жемчуга тысяч в сорок. Впрочем, мне вспомнилось, что, когда присуждали почетные титулы

по случаю дня рождения монарха, сэра Адольфуса Блэнда не было среди трех избранных, которых Его Величество соблаговолил произвести в пэры Англии.

Лия Мэкерт могла заглянуть в Тильби лишь ненадолго. В субботу вечером она выступала в Брайтоне, а в Тильби должна была приехать на своей машине в воскресенье утром и после ленча к вечеру вернуться в Лондон, потому что уже в понедельник давала концерт в Манчестере. Джорджу предстояло улучить минуту и поиграть ей в дневные часы после трапезы.

– Он так много занимается, – посетовала Мюриел. – Поэтому он и не приехал со мной встречать вас.

Свернув в ворота парка, мы покатали к дому по величественной въездной аллее, обсаженной могучими вязами. Гостей, кроме меня, явно не было.

Меня представили вдовствующей леди Блэнд. Я давно мечтал с ней познакомиться. Я рисовал себе импозантный образ старой-престарой еврейки, обитающей в полном одиночестве в роскошном доме на Портленд-плейс, но сующей нос во всякое дело и твердой рукой правящей всей семьей.

Действительность меня не разочаровала. Внешность у нее была представительная: она была довольно высокого роста, плотная, но не грузная, с типично еврейским лицом и очень заметными усиками, в каштановом парике со странным металлическим отливом. Облачена она была в роскошное платье из черной парчи, грудь обегал длинный ряд бриллиантовых звезд; вокруг шеи переливалось бриллиантовое кольцо, и на морщинистых пальцах сверкали бриллиантовые кольца. Говорила она довольно громко, резким голосом, с сильным немецким акцентом. Когда меня ей представляли, она вонзила в меня свои остро поблескивавшие глазки, быстро оценила мою особу и, как ни курьезно, нимало не пыталась скрыть, что вывод оказался для меня нелестным.

– Вы, кажется, давно знакомы с моим братом Фердинандом? – промолвила она, гортанно раскатывая «р». – Мой брат Фердинанд всегда вращался в самом лучшем обществе. А где же сэр Адольфус, Мюриел? Он знает, что ваш гость прибыл? А за Джорджем ты не хочешь послать? Если он до сих пор не выучил свои пьесы, до завтра он их все равно не выучит.

Мюриел объяснила, что Фредди доигрывает партию в гольф со своим секретарем, а Джорджу уже доложили, что я здесь. Леди Блэнд слушала ее с таким видом, будто эти разъяснения ей представлялись совершенно неудовлетворительными, и снова повернулась ко мне:

– Дочь сказала, что вы были в Италии?

– Да, только что вернулся.

– Красивая страна. Как себя чувствует король?

Я ответил, что мне ничего об этом не известно.

– Я хорошо его знала, когда он был маленьким мальчиком. Не очень крепкий ребенок. Королева Маргарита, его мать, была моей близкой подругой. Семья считала, что он никогда не женится. И герцогиня Аостская страшно рассердилась, когда он влюбился в эту черногорскую принцессу.

Казалось, она принадлежала к какому-то далекому-далекому прошлому, но держалась очень бодро, и я подумал, что немного ускользает от ее глаз-буравчиков. Тут появился Фредди в бриджах для гольфа, очень щеголеватый. Было смешно и даже трогательно видеть, как этот седобородый и, в общем, довольно властный человек откровенно старается угодить пожилой матроне, которую называет «мама». Вскоре к нам присоединился Джордж. Такой же толстый, как и раньше, но стриженный – явно по моему совету. Мальчишеского обаяния в нем уже почти не осталось, зато он превратился в сильного, крепкого молодого мужчину. Приятно было наблюдать, с каким удовольствием он принялся за еду – поглощал горы бутербродов и огромные куски торта: аппетит у него был еще юношеский. Отец смотрел на него с ласковой улыбкой, и в самом деле, глядя на него, легко было понять, почему все они так к нему привязаны. Открытость его нрава, обаяние и пылкость, конечно, очень

импонировали, а благородные манеры, искренность и врожденная сердечность не могли не привлекать сердца. Не знаю, обронила ли соответствующий намек его бабушка, или это просто следовало из великодушия его натуры, но ясно было, что он старается переломить себя ради отца. И по смягчившемуся взгляду Фредди, по тому, как он ловил каждое слово юноши, по довольному, счастливому и гордому выражению его лица можно было догадаться, чего ему стоило отчуждение последних двух лет. Он боготворил Джорджа.

* * *

Утром мы играли в гольф втроем, так как Мюриел пошла к мессе и не могла составить нам компанию, а в час дня автомобиль привез Лию Мэкерт и Ферди. Мы сели за стол. Я, конечно, прекрасно знал, каким признанием пользуется Лия Мэкерт, считавшаяся лучшей пианисткой Европы. Их с Ферди, который своим покровительством и поддержкой очень помог ей в начале карьеры, связывала старинная дружба, и это он договорился, чтобы она послушала Джорджа и высказала мнение о его видах на будущее. Было время, когда я всеми силами старался не пропускать ее концерты. Играла она без малейшей аффектации – просто, как птицы поют, и вроде бы без малейшего усилия – невероятно естественно: серебряные звуки стекали с кончиков ее легких пальцев совершенно произвольно, так что возникало ощущение, будто все эти сложные ритмы – плод импровизации. Понимающие люди говорили мне, что у нее блистательная техника. Я никогда не мог понять, что мне доставляет больше удовольствия: ее исполнение или ее личность. В те дни она казалась самым эфирным созданием, какое только может нарисовать воображение; не верилось, что в столь хрупком теле живет такая сила. Она была тоненькая, бледная, с огромными глазами и массой пышных черных волос, а когда играла, на лице у нее появлялось мечтательное детское выражение, придававшее ей невыразимую прелесть. Она была пленительна, но красота у нее была какая-то неземная, и, когда во время исполнения легкая улыбка трогала уголки ее сомкнутых губ, чудилось, будто ей вспоминается что-то нездешнее, подслушанное в другом мире. Сейчас ей было уже сорок с небольшим, она утратила воздушность, раздалась, лицо стало полнее, и чарующая отрешенность сменилась категоричностью триумфатора, уверенного в очередном успехе. Она была бойкая, деятельная и какая-то избыточная. Казалось, что от избытка жизненной силы вокруг нее всегда горят софиты – как нимбы вокруг голов святых. Ее мало что интересовало, кроме собственных дел, но, обладая чувством юмора и знанием света, она умела с толком распорядиться своей веселостью. Она поддерживала беседу, не завладевая ею целиком. Джордж говорил мало. Время от времени Лия бросала взгляд в его сторону, но не старалась втянуть в разговор. За столом я был единственным неевреем, и хотя все, кроме леди Блэнд, говорили по-английски безупречно, я не мог отделаться от впечатления, будто говорят они как-то иначе, чем англичане, – возможно, слишком округляя гласные и уж, безусловно, слишком громко. Да и слова с их губ не слетали, а низвергались потоком. Мне пришло в голову, что, окажись я в комнате по соседству, куда бы доносились только неразборчивые звуки, я бы решил, что говорят на иностранном языке. От всего этого делалось как-то не по себе.

Лия Мэкерт хотела выехать в Лондон около шести часов вечера, поэтому прослушивание договорились устроить в четыре. Мне было понятно, что, чем бы оно ни кончилось, с ее отъездом я, человек и без того не принадлежащий к семейному кругу, останусь единственным посторонним, и потому, сославшись на неотложное дело, ожидающее меня с утра, я попросил Лию подбросить меня на своей машине.

Около четырех часов все мы собрались в гостиной. Старая леди Блэнд расположилась на диване рядом с Ферди; Фредди, Мюриел и я удобно устроились в креслах, а Лия Мэкерт села отдельно, инстинктивно выбрав яковитский стул с высокой спинкой, смахивающий на трон. В желтом платье, оттенявшем оливковую смуглость кожи, она выглядела очень эффектно. Глаза у нее были прекрасные. На сильно накрашенном лице ярко алели губы.

Джордж не проявлял никаких признаков волнения. Когда Фредди, Мюриел и я вошли в

зал, он уже сидел за роялем и спокойно смотрел, как мы рассаживаемся. Он улыбнулся мне краешком губ. Увидев, что мы устроились, он заиграл. Начал он с Шопена. Он исполнил два хорошо знакомых мне вальса, полонез и этюд. Играл он с немалой долей *brío*.¹ Жаль, что я недостаточно разбираюсь в музыке, чтобы точно описать его манеру. В ней были сила и юношеское буйство, но я ощущал, что ей недостает того, что составляет для меня особое очарование Шопена: нежности, щемящей меланхолии, мечтательной веселости и той слегка поблекшей романтики, которая всегда ассоциируется у меня с сентиментальностью раннего викторианства. Иногда мне снова чудилось – но может быть, я ошибался, слишком нечетким было впечатление, – что руки у него чуть-чуть расходятся. Я перевел глаза на Ферди и увидел, что он послал сестре немного удивленный взгляд. Мюриел сначала неотрывно следила за пианистом, потом потупилась и до самого конца не подымала глаз от пола. Отец тоже смотрел на юношу, смотрел не мигая, но, если только мне это не привиделось, лицо его все больше бледнело и приобретало тревожное выражение. Музыка у них в крови, всю свою жизнь они слушали ее в исполнении лучших музыкантов мира и судили о ней инстинктивно, но верно. Единственным слушателем, чьи черты сохраняли полное бесстрашие, была Лия Мэкерт. Она слушала очень сосредоточенно и ни разу не шелохнулась – как статуя в нише.

Наконец он доиграл и повернулся к ней, не говоря ни слова.

– Что вы хотите, чтобы я сказала?

Они смотрели прямо в глаза друг другу.

– Я хочу, чтобы вы сказали, есть ли у меня надежда стать со временем первоклассным пианистом.

– Нет. Даже через тысячу лет.

Воцарилась мертвая тишина. Фредди втянул голову в плечи и уставился на ковер. Мюриел взяла мужа за руку. Лишь Джордж продолжал неотступно смотреть на Лию Мэкерт.

– Ферди посвятил меня во все обстоятельства дела, – наконец заговорила она. – Но не думайте, что я исхожу из них в своей оценке. Все это мелочи. – И она обвела широким жестом великолепную, изысканно обставленную залу и всех нас, сидевших там. – Если бы я думала, что вас есть задатки истинного музыканта, я без малейших колебаний просила бы вас оставить все это ради искусства. Нет ничего важнее искусства. Рядом с ним ни богатство, ни титулы, ни власть не стоят ломаного гроша. – Она посмотрела на нас ясным взором, в котором не было ни малейшего вызова. – Важны только мы, все остальные не в счет. Мы вносим смысл в существование, а вы для нас лишь материал.

Меня несколько задело то, что меня зачислили в общую категорию, но сейчас речь шла не о том.

– Я, конечно, вижу, что вы очень много работали. И не думайте, что это был напрасный труд. Вы всегда будете испытывать радость от того, что можете сесть за инструмент и сыграть, да и удовольствие от игры больших музыкантов вы будете получать совсем другое, чем обычные люди. Они о таком и мечтать не могут. Посмотрите на свои руки – разве это руки пианиста?

Я невольно перевел взгляд на руки Джорджа. Прежде я как-то никогда не обращал на них внимания. Меня поразило, какие они широкие, с короткими толстыми пальцами.

– У вас не абсолютный слух. Думаю, из вас получится очень хороший любитель и не более того. В искусстве между любителем и профессионалом лежит пропасть.

Джордж не проронил ни слова. И если бы не разлившаяся на его лице бледность, никто бы не догадался, что всем его мечтам сейчас выносят смертный приговор. Настала тягостная тишина. Вдруг глаза Лии Мэкерт налились слезами.

– Не полагайтесь на меня. Пусть вас послушает кто-нибудь еще, – уговаривала она. – Я не Бог, могу ошибаться. Вы, конечно, знаете, какой чудный, великодушный человек Падеревский. Я напишу, и вы поедете сыграете ему. Уверена, он вам не откажет.

В ответ Джордж слабо улыбнулся. Как безупречно воспитанный человек, он не хотел, чтобы присутствовавшие мучились неловкостью, какие бы чувства ни испытывал он сам.

¹ Живость (ит.).

– Думаю, в этом нет надобности. Я безоговорочно принимаю ваш вердикт. Сказать по правде, почти то же самое говорил мой педагог в Мюнхене.

Он встал из-за рояля и закурил сигарету. Это как-то разрядило обстановку, и все зашевелились на своих местах. Лия Мэкерт улыбнулась Джорджу:

– Хотите, я вам сыграю?

– Да, пожалуйста.

Она прошла к роялю. Сняла кольца, унизывавшие пальцы, и заиграла Баха. Не знаю, что именно: я никогда не помню названия вещей, но я узнал по-французски чопорную церемонность маленьких немецких княжеских дворов, опрятную умеренность бюргерского уюта, деревенские танцы на лужайке, зеленые деревца, похожие на рождественские елки, залитые солнцем деревенские просторы Германии и ее милую обжитость. Я вдыхал исходящий от земли теплый запах и ощущал кряжистую мощь, прущую из самых ее недр, и какую-то стихийную силу – не знающую счета времени и шедшую откуда-то из-за пределов космоса. Лия Мэкерт играла изумительно, нежное сияние звуков приводило на ум полную луну, чей свет струится по сумеречному летнему небу. Какой-то другой частью своего существа я продолжал наблюдать за остальными и видел, как глубоко они переживают совершавшееся: они сидели как зачарованные – и я от всей души позавидовал безраздельности их чувства. Лия закончила – на устах у нее еще порхала улыбка – и стала надевать кольца.

Джордж усмехнулся.

– Вот и ответ на все вопросы, – сказал он.

Слуги подали чай, и сразу после него мы с Лией Мэкерт попрощались и сели в машину. Ехали мы прямо в Лондон. Она не замолкала всю дорогу, и речи ее отличались если не блеском, то по крайней мере невероятной живостью. Она вспоминала свою манчестерскую юность, рассказывала, какие трудности ей пришлось преодолеть в начале карьеры. Слушать ее было очень интересно. О Джордже она не вспомнила ни единым словом: этот малозначительный эпизод был исчерпан, и больше она о нем не думала.

Мы не догадывались о том, что в это время происходило в Тильби. После нашего отъезда Джордж прошел на террасу, и отец тотчас последовал за ним. Да, Фредди одержал победу, но она его не радовала. Благодаря присущей ему поистине женской чуткости он знал, что испытывает Джордж, и от страданий сына у него просто разрывалось сердце. Пожалуй, никогда еще он не любил его так сильно. При виде отца Джордж слабо улыбнулся. Фредди заговорил с ним дрогнувшим голосом. В порыве захлестнувших его чувств он захотел отвергнуть плоды своей победы:

– Послушай, старина, не могу видеть, как ты огорчаешься. Может, поживешь еще годик в Мюнхене, а там посмотрим?

Джордж покачал головой:

– Да нет, это ничего не даст. Я использовал свой шанс. Кончен бал.

– Не принимай это так близко к сердцу.

– Понимаешь, если я чего и хотел в жизни, так только одного – стать пианистом. Ничего не поделаешь. Хотя не очень справедливо, если вдуматься.

Изо всех сил стараясь держать себя в руках, он улыбнулся бледной улыбкой.

– А может, покатаешься вокруг света? Возьмешь кого-нибудь из оксфордских друзей? Я все оплачу. Тебе пора отдохнуть – ты столько работал.

– Большое тебе спасибо, папа, потом подумаем. Сейчас мне хочется прогуляться.

– Можно с тобой?

– Да нет, я лучше один.

И тут Джордж сделал странную вещь. Обнял отца за шею обеими руками и поцеловал в губы. Потом как-то сдавленно, будто растроганно, хохотнул, повернулся и ушел. А Фредди поплелся в гостиную, где сидели его мать, жена и Ферди.

– Фредди, почему бы тебе не женить мальчика? – тут же спросила у него старая дама. – Ему уже двадцать три. Это бы в два счета отвлекло его от неприятностей, а потом, когда у

него будут жена и ребенок, он остепенится и станет как все.

– На ком же ему жениться, мама? – поинтересовался с улыбкой сэр Адольфус.

– Ну, это не проблема. Ко мне на днях приезжала леди Фрейлинсгаузен со своей дочкой Виолеттой. Очень интересная девушка, и с деньгами. Леди Фрейлинсгаузен намекнула мне, что сэр Джейкоб не поскупится, если Виолетта сделает хорошую партию.

Мюриел вся вспыхнула:

– Терпеть не могу леди Фрейлинсгаузен. И Джорджу еще рано жениться. А уж жениться он может на ком пожелает – за него любая пойдет.

Старая леди Блэнд наградила дочь непроницаемым взглядом.

– Какая же ты глупенькая, Мириам, – проговорила она, называя невестку именем, от которого та давно отказалась. – Пока я жива, я не позволю тебе делать глупости.

Она ясно понимала, словно Мюриел назвала это своим именем, что невестка хочет женить Джорджа на англичанке, но она также знала, что, пока она жива, ни Фредди, ни его жена не осмелятся произнести это вслух.

Но Джордж отправился не на прогулку. Возможно, потому, что охотничий сезон должен был вот-вот начаться, он надумал пойти в комнату, где хранились охотничьи ружья, и стал чистить ружье, которое мать подарила ему на двадцатилетие. С тех пор как он уехал в Мюнхен, ружье так и стояло нетронутым. Вдруг грянул выстрел. Когда испуганные слуги вбежали в комнату, Джордж лежал на полу с простреленным сердцем. Видимо, ружье было заряжено, и, поворачивая его в разные стороны, Джордж нечаянно выстрелил себе в грудь. О таких происшествиях часто пишут в газетах.

Источник вдохновения (пер. М. Лорие)

Лишь очень немногие, вероятно, знают, как случилось, что миссис Альберт Форрестер написала «Статую Ахиллеса»; а поскольку эту книгу причислили к лучшим романам нашего времени, я смею думать, что краткий отчет об обстоятельствах, при которых она появилась на свет, будет небезынтересен для каждого серьезного литературоведа; в самом деле, если этой книге, как утверждают критики, суждена долгая жизнь, нижеследующий рассказ послужит цели более достойной, чем ненадолго развлечь скучающего читателя: будущий историк, возможно, усмотрит в нем любопытный комментарий к литературной летописи наших дней.

Все, конечно, помнят, какой огромный успех «Статуя Ахиллеса» имела у публики. Из месяца в месяц наборщики без усталы набирали, а переплетчики без усталы переплетали одно издание за другим; издатели как в Англии, так и в Америке едва поспевали выполнять срочные заказы книгопродавцев. Роман был немедленно переведен на все европейские языки, а недавно стало известно, что скоро его можно будет прочесть по-японски и на урду. Но сперва он печатался по частям в журналах на обоих берегах Атлантического океана, и с издателей этих журналов агент миссис Форрестер содрал сумму, которую нельзя назвать иначе, как сногшибательной. Переделанный в пьесу, он целый сезон не сходил со сцены в Нью-Йорке, и в Лондоне постановка эта будет, несомненно, иметь столь же бурный успех. Право экранизации уже продано за огромную цену. Хотя сплетники (из литературных кругов), обсуждая гонорар миссис Форрестер, наверняка преувеличивают цифру, однако можно не сомневаться, что на одной этой книге она заработает достаточно денег, чтобы безбедно прожить остаток своих дней.

Редкая книга встречает одинаково благосклонный прием у читателей и у критики, и миссис Форрестер должно бы доставить особенное удовольствие, что именно ей удалось, если можно так выразиться, найти квадратуру круга; ибо хотя критики и раньше не скупались на похвалы (она даже привыкла принимать это как должное), но публика почему-то никак не могла оценить ее по достоинству. Каждая новая ее книга – изящный томик в белом матерчатом переплете, набранный прекрасным шрифтом, – объявлялась

шедевром в рецензии, занимавшей ровно один столбец, а в еженедельных обзорах, которые можно увидеть только в пыльной библиотеке какого-нибудь солидного клуба, – даже страницу; и все тонкие ценители читали книгу и хвалили ее. Но тонкие ценители, очевидно, не покупают книг, и творения миссис Форрестер не расходились. В самом деле, это был просто позор – пошлая чернь не желала замечать писательницу, обладающую таким прихотливым воображением, таким утонченным стилем! В Америке ее и вовсе почти не знали, и, хотя мистер Карл ван Вехтен¹ написал статью, в которой порицал читающую публику за ее косность, читающая публика осталась равнодушна. Агент миссис Форрестер, горячий поклонник ее таланта, пригрозил одному американскому издателю, что, если тот не напечатает две ее книги, не видать ему других (скорей всего каких-то ерундовых романчиков), за которыми он охотился; и эти две книги были опубликованы. Пресса дала на них лестные отзывы, тем доказав, что и в Америке лучшие умы не безразличны к ее таланту; однако, когда зашел разговор о третьей книге, американский издатель (со свойственной издателям грубостью) заявил агенту, что предпочитает истратить лишние деньги на выпивку.

После появления «Статуи Ахиллеса» прежние книги миссис Форрестер были переизданы (и мистер Карл ван Вехтен написал новую статью, в которой с грустью, но твердо указал, что еще пятнадцать лет назад пытался привлечь внимание читающего мира к исключительным достоинствам автора), и рекламировались они так широко, что едва ли могли ускользнуть от внимания интеллигентного читателя. Поэтому мне нет нужды о них распространяться, тем более что это были бы только перепевы мастерских статей мистера Карла ван Вехтена.

Писать миссис Форрестер начала с ранних лет. Первая ее книжка (сборник элегий) вышла в свет, когда она была восемнадцатилетней девицей; и с тех пор каждые два-три года – она не торопилась, ибо уважала свое творчество – она печатала либо томик стихов, либо томик прозы. Ко времени написания «Статуи Ахиллеса» она достигла почтенного возраста – пятидесяти семи лет, – из чего явствует, что и сочинений у нее набралось немало. Она подарила миру пять или шесть сборников стихов, озаглавленных по-латыни, например «*Felicitas*», «*Pax Maris*», «*Aes Triplex*»,² и очень серьезных, ибо ее муза, не склонная являться к ней «стопой воздушной, точно в танце», шествовала несколько тяжеловатой поступью.

Она осталась верна элегии, много внимания уделяла сонету, но главной ее заслугой было возрождение оды – поэтического жанра, которым наши современники пренебрегают, и можно с уверенностью сказать, что ее «Ода президенту Фальеру» войдет во все антологии английской поэзии. Она пленяет не только благородной звучностью стиха, но также на редкость удавшимся описанием прекрасной Франции. О долине Луары, овеванной памятью Дю Белле,³ о Шартре и цветных стеклах его собора, о солнечных городах Прованса миссис Форрестер пишет с теплым чувством, тем более примечательным, что сама она не бывала во Франции дальше Булони, куда вскоре после свадьбы ездила на экскурсионном пароходе из Маргета. Но физические страдания, вызванные морской болезнью, и моральная травма, причиненная открытием, что жители этого много посещаемого приморского курорта не понимают ее, когда она бегло и свободно изъясняется по-французски, подсказали ей решение – впредь не подвергать себя столь неприятным и бесславным испытаниям; и она действительно больше никогда не вверялась коварной пучине, которую, однако, продолжала воспевать («*Pax Maris*») «в стихах и сладостных и стройных».

«Ода Вудро Вильсону» тоже местами очень хороша, и мне жаль, что поэтесса, изменив свое отношение к этому превосходному человеку, не пожелала включить ее в новое издание. Но ярче всего, думается мне, миссис Альберт Форрестер проявила себя в прозе. Она написала несколько томов коротких, но безупречно построенных эссе на такие темы, как «Осень в Сассексе», «Королева Виктория», «О смерти», «Весна в Норфолке», «Архитектура эпохи Георгов», «Мсье Дягилев и Данте», а также труды, сочетающие большую эрудицию и

¹ Американский критик и писатель, хорошо известный в 20–30-х годах нашего века.

² «Счастье», «Морская тишь», «Отвага» (лат.).

³ Французский поэт XVI века.

полет фантазии, о иезуитской архитектуре XVII века и о Столетней войне в ее литературном аспекте. Именно своей прозе она обязана тем, что около нее образовался кружок преданных почитателей (немногочисленных, но избранных, как сама она выразилась с присущей ей меткостью), объявивших ее непревзойденным в нашем веке мастером английского языка. Она и сама признавала, что главное ее достоинство – это стиль, пышный, но хлесткий, отточенный, но не сухой, и только в прозе мог проявиться тот восхитительный, хоть и сдержанный юмор, который ее читатели находили неотразимым. Это был не юмор мыслей, и даже не юмор слов; это было нечто куда более тонкое – юмор знаков препинания: в какую-то вдохновенную минуту она постигла, сколько уморительных возможностей таит в себе точка с запятой, и пользовалась ею часто и искусно. Она умела поставить ее так, что читатель, если он был человек культурный и с чувством юмора, не то чтобы катался от хохота, но посмеивался тихо и радостно, и чем культурнее был читатель, тем радостнее он посмеивался. Ее друзья утверждали, что всякий другой юмор кажется после этого грубым и утрированным. Некоторые писатели пытались подражать ей, но тщетно; в чем бы ни упрекать миссис Форрестер, бесспорным остается одно: из точки с запятой она умела выжать весь юмор до последней капли, и никто не мог с ней в этом сравниться.

Миссис Форрестер занимала квартиру неподалеку от Мраморной Арки, сочетавшую в себе два преимущества: прекрасный район и умеренную плату. В квартире была большая гостиная окнами на улицу и просторная спальня для миссис Форрестер, темноватая столовая окном во двор и тесная спальня рядом с кухней – для мистера Альберта Форрестера, в чьи обязанности входило платить за квартиру.

В гостиной миссис Форрестер по вторникам принимала гостей. Комната была обставлена строго и целомудренно. Обои, сделанные по рисунку самого Уильяма Морриса; по стенам меццо-тинто в простых черных рамках, собранные еще до того, как меццо-тинто поднялись в цене. Мебель чиппендейльская – вся, кроме бюро с выдвижной крышкой, в котором было нечто от стиля Людовика XVI и за которым миссис Форрестер писала свои сочинения. Его показывали каждому гостю, приходившему сюда впервые, и мало кто, глядя на него, не испытывал глубокого волнения. Ковер был толстый, лампы неяркие. Миссис Форрестер сидела в кресле с прямой спинкой, обитом темно-красным кретоном. В этом не было ничего показного, но поскольку других удобных кресел в комнате не имелось, это как бы создавало дистанцию между ней и гостями. Чай разливала некая особа неопределенного возраста, бесцветная и бессловесная; ее ни с кем не знакомили, но было известно, что она считает за честь предоставленную ей возможность избавлять миссис Форрестер от нудной обязанности поить гостей чаем. Последняя могла таким образом целиком посвящать себя разговору, а послушать ее, безусловно, стоило. Рассуждения ее не отличались чрезмерной живостью; и, поскольку голосом трудно изобразить точку с запятой, им, возможно, недоставало юмора, но она могла беседовать о многих предметах со знанием дела, поучительно и интересно. Миссис Форрестер была неплохо осведомлена в социологии, юриспруденции и богословии. Она много прочла и обладала цепкой памятью. Она всегда умела привести цитату, – а это хорошая замена собственному остроумию, – и за те тридцать лет, что была знакома, более или менее близко, с множеством выдающихся людей, накопила множество забавных анекдотов, которые рассказывала, тактично скрывая истинных героев, и повторяла не чаще, чем могли выдержать слушатели. Миссис Форрестер умела привлекать к себе самых разнообразных людей, и в ее гостиной можно было встретить одновременно бывшего премьера, владельца газеты и посла одной из великих держав. Мне всегда казалось, что эти важные лица бывали у нее потому, что воображали, будто здесь они общаются с богемой, но с богемой такой опрятной и чистенькой, что нет опасности о нее запачкаться. Миссис Форрестер всерьез интересовалась политикой, и я сам слышал, как один министр так прямо и сказал ей, что у нее мужской склад ума. В свое время она была против предоставления женщинам избирательного права, но, когда они наконец получили это право, стала подумывать, не выставить ли ей свою кандидатуру в парламент. Одно лишь ее смущало – какую партию выбрать.

– В конце концов, – говорила она, кокетливо поводя несколько грузными плечами, – не могу же я образовать партию из одной себя.

Не будучи уверенной, как повернутся события, она, подобно многим искренним патриотам, не торопилась определить свои политические взгляды; но за последнее время она все больше склонялась к лейборизму, усматривая в нем наилучший путь для Англии; и кой у кого создалось впечатление, что, если ей будет предложен надежный избирательный округ, она не колеблясь выступит в защиту прав угнетенного пролетариата.

Двери ее гостиной были широко открыты для иностранцев – для чехов, итальянцев и французов, если они чем-нибудь успели прославиться, и для американцев, даже безвестных. Но снобизмом она не грешила, и герцог мог появиться в ее гостиной, только если был сугубо интеллектуальной натурой, а супруга пэра – только если она вдобавок к титулу могла похвалиться каким-нибудь мелким нарушением светских приличий и заслужила расположение свободомыслящей хозяйки дома, разведясь с мужем, написав роман или подделав подпись на чеке. Художников миссис Форрестер недолго любила за молчаливость и робость; музыканты ее не интересовали: даже если они соглашались поиграть у нее – а знаменитости чаще всего играть отказывались, – их музыка мешала разговору; кому нужна музыка, те пусть идут на концерт; она же предпочитает более изысканную музыку души. Зато писателям, особенно многообещающим и малоизвестным, она неизменно оказывала самое теплое гостеприимство. Она чутьем угадывала талант, и среди писателей с именем, которые время от времени заходили к ней на чашку чая, почти не было таких, кому она не помогла бы на первых порах советом и добрым словом. Собственное ее положение было так прочно, что исключало даже мысль о зависти, а слово «талант» так часто связывали с ее именем, что ее ни капельки не обижало, когда другим талант приносил коммерческий успех, не выпавший ей на долю.

Уверенная в признании потомков, миссис Форрестер могла позволить себе такую роскошь, как бескорыстие. Нужно ли удивляться после всего этого, что ей удалось создать самое близкое подобие французского салона XVIII столетия, какое возможно в нашей варварской стране. Приглашение «на чашку чар с булочкой» во вторник было честью, от которой мало кто отказывался; и, сидя на чиппендейльском стуле в строгой гостиной с затененными лампами, всякий невольно ощущал, что на его глазах творится история литературы. Американский посол выразился однажды так:

– Чашка чая у вас в гостиной, миссис Форрестер, – это лучшая интеллектуальная пища, какую мне доводилось вкушать.

Иногда все это действовало даже слегка угнетающе. Вкус у миссис Форрестер был такой безупречный, она так безошибочно знала, чем и в каких выражениях восторгаться, что порой вам просто не хватало воздуха. Я, например, считал за благо подкрепиться коктейлем, прежде чем вдохнуть разреженную атмосферу ее салона. Однажды мне даже грозила опасность быть навсегда из него изгнанным: явившись как-то в гости, я задал горничной, отворившей мне дверь, не стандартный вопрос «Миссис Форрестер дома?», а другой: «Богослужение сегодня состоится?»

Разумеется, это была чистая оплошность с моей стороны, но, на беду, горничная фыркнула, а как раз в эту минуту Эллен Ханнеуэй, одна из самых преданных почитательниц миссис Форрестер, снимала в передней ботики. Когда я вошел в гостиную, она уже успела передать мои слова хозяйке дома, и та устремила на меня орлиный взор.

– Почему вы спросили, состоится ли сегодня богослужение? – осведомилась она.

Я объяснил, что всегда был рассеян, однако миссис Форрестер продолжала сверлить меня глазами.

– Может быть, мои приемы кажутся вам... – она не сразу нашла нужное слово, – сакраментальными?

Я не понял ее, но, не желая, чтобы столько умных людей сочли меня невеждой, решил, что единственное мое спасение – в беспардонной лести.

– Ваши приемы, дорогая миссис Форрестер, так же прекрасны и божественны, как вы

сами.

По внушительной фигуре миссис Форрестер пробежала легкая дрожь. Словно человек неожиданно очутился в комнате, полной гиацинтов, – аромат их так пьянит, что начинает кружиться голова. Однако она сменила гнев на милость.

– Если вы в шутовском настроении, – сказала она, – то, прошу вас, шутите лучше с моими гостями, а не с горничными... Ну, садитесь, мисс Уоррен нальет вам чаю.

Мановением руки миссис Форрестер отпустила меня, но моей шутки она не забыла: в последующие два-три года, знакомя меня с кем-нибудь, она неизменно добавляла:

– Имейте в виду, он приходит сюда только каяться в грехах. Когда ему отворяют дверь, он всегда спрашивает: «Богослужение сегодня состоится?» Вот шутник, правда?

Но миссис Форрестер не ограничивала свои приемы еженедельными чаепитиями: каждую субботу у нее устраивался завтрак на восемь персон; это число она считала идеальным для общей беседы, и к тому же оно диктовалось скромными размерами ее столовой.

Если миссис Форрестер чем-нибудь гордилась, так это не своим исключительным знанием английской просодии, а именно своими завтраками. Гостей она подбирала тщательно, и приглашение к ней на завтрак было не только лестно, это был своего рода ритуал посвящения. Разговор в высоком плане легче вести за столом, чем рассеявшись по всей гостиной, и после такого завтрака всякий, вероятно, уходил от миссис Форрестер более чем когда-либо убежденный в ее одаренности и проникнутый более крепкой верой в человеческую природу. Приглашала она одних мужчин, ибо, хоть и высоко ценила женщин и в других случаях охотно с ними общалась, все же сознавала, что за столом женщина любит разговаривать исключительно со своим соседом слева или справа, а это мешает общему обмену мыслями, благодаря которому ее завтраки становятся праздником не только для желудка, но и для души. А надо сказать, что кормили у миссис Форрестер необычайно вкусно, вина были лучшей марки и сигары первоклассные. Это должно удивить всякого, кому случалось пользоваться гостеприимством литераторов: ведь обычно мысли их возвышенны, а жизнь проста; занятые духовными материями, они не замечают, что баранина не прожарилась, а картофель остыл; пиво у них еще туда-сюда, но вино действует отрезвляюще, а кофе лучше и не пробовать. Миссис Форрестер не скрывала своего удовольствия, когда гости расхваливали ее завтраки.

– Если люди оказывают мне честь, преломляя со мною хлеб, – говорила она, – я просто обязана кормить их не хуже, чем они могли бы поесть у себя дома.

Но чрезмерную лесть она пресекала.

– Вы, право же, конфузите меня, да и похвалы ваши не по адресу, – благодарите миссис Булфинч.

– Кто это миссис Булфинч?

– Моя кухарка.

– Не кухарка, а сокровище! Но ведь вы не станете утверждать, что она и вина тоже выбирает?

– А вам понравилось? Я в этих вещах ровно ничего не понимаю; я целиком полагаюсь на своего поставщика.

Но если речь заходила о сигарах, миссис Форрестер расплывалась в улыбке.

– А за это скажите спасибо Альберту. Сигары покупает Альберт, и мне говорили, что никто так замечательно не разбирается в сигарах.

Она смотрела через стол на своего мужа блестящими, гордыми глазами, какими породистая курица (скажем, орпингтон) смотрит на своего единственного цыпленка. И тут поднимался оживленный, многоголосый говор, – это гости, до сих пор тщетно искавшие случая проявить вежливость по отношению к хозяину дома, осыпали его комплиментами.

– Вы очень добры, – отвечал он. – Я рад, что они пришлись вам по вкусу.

После этого он произносил небольшую речь о сигарах – объяснял, какие свойства он в них особенно ценит, и сетовал на снижение качества, вызванное массовым производством.

Миссис Форрестер слушала его с умиленной улыбкой, и было видно, что его маленький триумф ее радует. Разумеется, нельзя говорить о сигарах без конца, и, заметив, что гости начинают поеживаться, она тотчас переводила разговор на что-нибудь другое, более интересное и значительное. Альберт умолкал. Но этой минуты торжества уже нельзя было у него отнять.

Из-за Альберта кое-кто находил, что завтраки миссис Форрестер не так приятны, как ее чаепития, ибо Альберт был невыносим; но она, хоть и должна была это знать, не желала без него обходиться и даже завтраки свои именно потому устраивала по субботам, что в остальные дни он был занят. По мнению миссис Форрестер, участие ее мужа в этих пиршествах было некой данью ее самоуважению. Она ни за что не призналась бы, что вышла замуж за человека, уступающего ей по духовному богатству, и, возможно, бессонными ночами размышляла о том, могла ли бы она вообще найти себе равного. Друзей миссис Форрестер подобные соображения не смущали, и они открыто ужасались, что такая женщина обременила себя таким мужчиной. Они спрашивали друг друга, как она могла выйти за него, и (будучи сами по большей части холосты) отвечали, что вообще невозможно понять, почему люди женятся и выходят замуж.

Не то чтобы Альберт был болтлив или назойлив; он не утомлял вас бесконечными рассказами, не изводил плоскими шутками; не распиная вас на трюизмах и не мучил прописными истинами, — он просто был скучен. Пустое место. Клиффорд Бойлстон, постигший все тайны французских романтиков и сам даровитый писатель, сказал однажды, что, если заглянуть в комнату, куда только что вошел Альберт, там никого не окажется. Друзья миссис Форрестер нашли, что это очень остроумно, и Роза Уотерфорд, известная романистка и бесстрашная женщина, рискнула пересказать это самой миссис Форрестер. Та сделала вид, что рассердилась, но не могла удержаться от улыбки. Сама она обращалась с Альбертом так, что за это друзья уважали ее еще больше. Пусть думают о нем, что хотят, но они обязаны оказывать ему полное почтение, как ее супругу. Собственное ее поведение было выше всяких похвал. Если Альберт о чем-нибудь заговаривал, она слушала его доброжелательно, а когда он приносил ей нужную книгу или подавал карандаш, чтобы она могла записать внезапно возникшую мысль, всегда благодарила его. Друзьям ее тоже не разрешалось пренебрегать им, и хотя, будучи женщиной тактичной, она понимала, что повсюду возить его с собою значило бы злоупотреблять чужой любезностью, и много выезжала одна, все же друзья ее знали, что не реже одного раза в год им следует приглашать его к обеду. Когда она ехала на официальный банкет, где ей предстояло произнести речь, он всегда сопровождал ее, а если она читала лекцию, то не забывала достать ему пропуск на эстраду.

Альберт был, вероятно, среднего роста, но рядом со своей крупной и внушительной супругой — а без нее его и вообразить было невозможно — казался низеньким. Он был узкоплеч, худощав и выглядел старше своих лет; они с женой были ровесниками. Волосы, седые и жидкие, он стриг очень коротко и носил седые усы щеткой; его худое, морщинистое лицо не было ничем примечательно; голубые глаза, в прошлом, возможно, красивые, казались выцветшими и усталыми. Одет он бывал безупречно: серые брюки в полоску, черная визитка и серый галстук с небольшой жемчужной булавкой. Он всегда держался в тени, и когда он, стоя в гостиной миссис Форрестер, встречал гостей, приглашенных ею к завтраку, он так же мало бросался в глаза, как спокойная, корректная мебель. Воспитан он был прекрасно и пожимал гостям руки с учтивой улыбкой.

— Здравствуйте, очень рад вас видеть, — говорил он, если это были старые знакомые. — Надеюсь, вы в добром здоровье?

Если же это были знатные иностранцы, появившиеся в доме впервые, он подходил к ним, едва они переступали порог гостиной, и сообщал.

— Я — муж миссис Альберт Форрестер. Позвольте представить вас моей жене.

После чего подводил гостя к миссис Форрестер, стоявшей спиной к свету, и та спешила навстречу с радостным приветствием на устах.

Приятно было видеть, как скромно он гордится литературной славой жены и как ненавязчиво печется о ее интересах. Он умел вовремя появиться и вовремя исчезнуть. Он обладал тактом, если не выработанным, то врожденным. Миссис Форрестер первая признавала его достоинства.

– Просто не знаю, что бы я без него делала, – говорила она. – Это золотой человек. Я читаю ему все, что пишу, и замечания его часто бывают очень полезны.

– Мольер и его кухарка, – сказала мисс Уотерфорд.

– По-вашему, это смешно, милая Роза? – спросила миссис Форрестер не без сарказма.

Когда миссис Форрестер не одобряла чьих-нибудь слов, она имела обыкновение спрашивать, не шутка ли это, которой она по тупости своей не поняла, и многих таким образом смущала. Но смутить мисс Уотерфорд было невозможно. Эта леди за свою долгую жизнь испытала много увлечений, но всего одну страсть – к литературе. Миссис Форрестер не столько одобряла ее, сколько терпела.

– Бросьте, дорогая, – возразила мисс Уотерфорд, – вы прекрасно знаете, что без вас он был бы ничто. Он не был бы знаком с нами. Подумайте, какое это для него счастье – общаться с самыми умными и интересными людьми нашего времени.

– Пчела, возможно, погибла бы, не будь у нее улья, но и пчела имеет ценность сама по себе.

Поскольку друзья миссис Форрестер превосходно разбирались в искусстве и литературе, но в естественных науках смыслили мало, ее замечание осталось без ответа. А она продолжала:

– Он никогда мне не мешает. Он чувствует, когда меня нельзя беспокоить. Более того, если я что-нибудь обдумываю, мне даже приятно, что он в комнате.

– Как персидская кошка, – сказала мисс Уотерфорд.

– Но очень благонравная и благовоспитанная персидская кошка, – строго возразила миссис Форрестер и тем поставила-таки мисс Уотерфорд на место.

Но миссис Форрестер еще не исчерпала свою тему.

– Мы, люди интеллектуальные, – сказала она, – склонны слишком замыкаться в своем мире. Абстрактное интересует нас больше, чем конкретное, и порой мне думается, что мы взираем на сутолоку человеческих дел слишком издалека, с очень уж безмятежных высот. Вам не кажется, что нам грозит опасность несколько очерстветь? Я всегда буду признательна Альберту за то, что благодаря ему не теряю связи с рядовым человеком.

После этой тирады, которой, как и многим другим ее высказываниям, никак нельзя было отказать в проникательности и тонкости, Альберта некоторое время называли в ее тесном кружке не иначе, как «Рядовой человек». Но это вскоре позабылось, а потом его прозвали «Филателистом». Кличку эту выдумал остроумный и злой Клиффорд Бойлстон. Однажды, истощив все доступные ему возможности разговора с Альбертом, он с горя спросил:

– Вы не собираете марки?

– Нет, – кротко отвечал Альберт. – К сожалению, не собираю.

Но Клиффорд Бойлстон, едва задав свой вопрос, усмотрел в нем интересные возможности. Его перу принадлежала книга о тетке жены Бодлера, привлекавшая внимание всех, кто интересуется французской литературой, и было известно, что, годами изучая дух французской нации, он и сам приобрел немалую долю галльской живости ума и галльского блеска. Пропустив ответ Альберта мимо ушей, он при первом же удобном случае сообщил друзьям миссис Форрестер, что наконец открыл, в чем тайна Альберта. Альберт собирает марки. После этого он всякий раз при встрече спрашивал его: «Ну, мистер Форрестер, как ваша коллекция?» Или: «Приобрели вы какие-нибудь интересные марки с тех пор, как мы с вами виделись?»

Тщетно Альберт продолжал твердить, что не собирает марок, – из такой удачной выдумки нужно было извлечь максимум: все друзья миссис Форрестер включились в игру и, обращаясь к Альберту, редко забывали спросить про его коллекцию. Даже миссис Форрестер,

будучи в особенно веселом настроении, иногда называла мужа Филателистом. Прозвище это как-то удивительно подходило Альберту. Иногда его называли так прямо в глаза, и все вынуждены были оценить, как благодушно он это принимает; он улыбался без всякой обиды, а скоро даже перестал уверять, что они ошибаются.

Конечно, миссис Форрестер слишком уважала светские приличия и слишком дорожила успехом своих завтраков, чтобы сажать самых знатных своих гостей рядом с Альбертом. Это было уделом более старых и близких друзей, и, встречая намеченную жертву, она говорила:

– Вы ведь не против того, чтобы сидеть с Альбертом?

Гостю оставалось только ответить, что он очень рад, а если он не мог скрыть своего огорчения, она кокетливо похлопывала его по руке и добавляла:

– В следующий раз вы будете сидеть со мной. Альберт так стесняется незнакомых, а вы так замечательно умеете к нему подойти.

Да, друзья миссис Форрестер это умели: они просто игнорировали его. С тем же успехом они могли бы сидеть возле пустого стула. Он не выказывал ни малейшего недовольства тем, что эти люди его не замечают, хоть и угощаются за его счет, – ведь на заработки миссис Форрестер никак нельзя было бы предложить гостям весенней лососины и ранней спаржи. Он сидел и молчал, а если открывал рот, так только для того, чтобы отдать распоряжение горничной. Если же он видел гостя впервые, то внимательно разглядывал его, но это не казалось невежливым, потому что взгляд у Альберта был детский. Он словно спрашивал себя, что это за диво; но как разрешалось его недоумение – этого он не сообщал никому. Когда завязывалась оживленная беседа, он переводил взгляд с одного из говоривших на другого, но и тут по выражению его худого, морщинистого лица невозможно было догадаться, что он думает об этом фантазмагорическом обмене мнениями.

Клиффорд Бойлстон уверял, что все их умные речи и блестящие остроты перекачиваются через него, как вода через спину утки. Он уже отчаялся что-либо понять и теперь только делает вид, что слушает. Но Гарри Окленд, критик с широким диапазоном, утверждал, что Альберт не упускает ни слова; для него все это просто откровение, и он, бедняга, изо всех сил старается понять хотя бы часть тех интереснейших вещей, которые при нем говорят. А в Сити он, наверно, хвалится своими образованными знакомыми, там он, может быть, слышет знатоком по части литературы и философии, – вот бы его послушать! Гарри Окленд был одним из самых верных почитателей миссис Форрестер и автором блестящего эссе о ее стиле. Тонким, даже красивым лицом он походил на святого Себастьяна, которого подвело слишком сильно действующее средство для ращения волос, – ибо волосат он был необычайно. Ему не было еще и тридцати лет, но он уже успел показать себя как театральный критик, литературный критик, музыкальный критик и критик живописи. Теперь, немного устав от искусства, он грозил в дальнейшем посвятить свой талант критике спорта.

Следует пояснить, что Альберт был коммерсантом и, к несчастью (которое миссис Форрестер, по мнению ее друзей, переносила с похвальной стойкостью), не был даже особенно богат. Будь он одним из тех магнатов коммерции, что держат в своих руках судьбы целых народов или посылают корабли, нагруженные экзотическими пряностями, в порты Леванта, чьи названия дали поэтам столько редких и звучных рифм, – в этом хоть было бы что-то романтическое. Но Альберт всего лишь торговал коринкой, и доходов его, надо думать, как раз хватало на то, чтобы миссис Форрестер могла жить красиво и ни в чем себя не стесняя. Так как он был занят в конторе до шести часов, то на вторники миссис Форрестер попадал уже после ухода самых важных гостей. В ее салоне к этому времени обычно оставалось лишь трое или четверо близких друзей, с большим юмором перебивавших косточки отбившим, и, услышав, как Альберт поворачивает ключ в замке, они все разом приходили к мысли, что время уже позднее. Через минуту он приотворял дверь и заглядывал в комнату. Миссис Форрестер встречала его радостной улыбкой.

– Входи, входи, Альберт. По-моему, ты тут со всеми знаком.

Альберт входил и пожимал руки друзьям своей жены.

– Ты прямо из Сити? – спрашивала она, хотя прекрасно знала, что больше прийти ему

неоткуда. – Хочешь чашку чаю?

– Нет, спасибо, милая. Я выпил чаю в конторе.

Миссис Форрестер улыбалась еще радостнее, и гости отмечали про себя, как славно она с ним обращается.

– Но я ведь знаю, что ты с удовольствием выпьешь еще чашечку. Давай, я сама тебе налью.

Она подходила к чайному столику и, забыв, что чай подан полтора часа назад и давно остыл, наливала ему чашку, клала сахару и добавляла молока. Альберт благодарил, брал чашку и начинал тихонько помешивать чай, но, когда миссис Форрестер возобновляла беседу, прерванную его приходом, незаметно отставлял чашку в сторону. Гости же, восприняв его появление как сигнал, начинали прощаться. Один раз, правда, разговор шел такой увлекательный и на такую важную тему, что миссис Форрестер просто не позволила им уйти.

– Нужно решить это раз и навсегда. И как-никак, – добавила она не без лукавства, – у Альберта может быть свое мнение на этот счет. Послушаем, что он скажет.

В то время в моду входила стрижка, и спор шел о том, остричься миссис Форрестер или нет. Выглядела миссис Форрестер внушительно. У нее была крупная кость, и притом отнюдь не только кости да кожа. Не будь она такого высокого роста, ее можно было бы заподозрить в тучности. Но полнота нисколько ее не портила. Черты лица у нее были крупноваты, чем, видимо, и объяснялась почти мужская интеллектуальность выражения. Смуглая кожа наводила на мысль, что среди ее предков были левантинцы; сама она признавалась, что чувствует в себе цыганскую кровь и, вероятно, поэтому в ее поэзии порой прорывается дикая и необузданная страстность. Глаза у нее были большие, черные, блестящие, нос – как у герцога Веллингтона, только более мясистый, подбородок квадратный, решительный. Ее полные губы алели без помощи губной помады, – миссис Форрестер не снисходила до косметики; а волосы – густые, без блеска седые волосы – были уложены на макушке, отчего она казалась еще выше ростом. В общем внешность у нее была импозантная, чтобы не сказать – устрашающая.

Одевалась она всегда к лицу, в дорогие ткани темных тонов, и весь ее облик говорил о том, что она причастна к литературе. Однако по-своему (ибо человеческая суетность не была ей чужда) она следовала моде, и платья на ней всегда бывали новейших фасонов. Я подозреваю, что ее уже давно подмывало остричься, но ей казалось, что приличнее будет сделать это не по собственному почину, а по просьбе друзей.

– Непременно, непременно! – сказал Гарри Окленд по-мальчишески упрямо. – Вы будете просто изумительны.

Клиффорд Бойлстон, работавший теперь над книгой о мадам де Ментенон, держался иного мнения. Он считал, что это опасный эксперимент.

– По-моему, – говорил он, протирая пенсне батистовым платком, – раз создав какой-то тип, нужно его держать. Чем был бы Людовик XIV без парика?

– Право, не знаю, – сказала миссис Форрестер. – Нельзя все-таки отставать от века. Я современная женщина и хочу идти в ногу со своим временем. Америка, как сказал Вильгельм Мейстер, это «здесь и сейчас». – Она с улыбкой повернулась к Альберту. – Что скажет по этому поводу мой господин и повелитель? Как ты думаешь, Альберт? Остричься или нет, вот в чем вопрос.

– Боюсь, дорогая, что мое мнение не так уж важно, – ответил он кротко.

– Для меня оно очень, очень важно, – любезно возразила миссис Форрестер.

И почувствовала, как всех восхищает ее обращение с Филателистом.

– Я настаиваю, – не унималась она. – Настаиваю. Никто не знает меня так, как ты, Альберт. Пойдет мне стрижка?

– Возможно, – отвечал он. – Я только опасаюсь, как бы при твоей... монументальной внешности короткие волосы не вызвали в представлении... ну, скажем, «те солнечные острова, где гимн любви Сапфо слагала».

Последовала неловкая пауза. Роза Уотерфорд подавилась смешком, остальные хранили

гробовое молчание. Улыбка миссис Форрестер застыла у нее на губах. Да, Альберт отличился!

– Я всегда считала Байрона очень посредственным поэтом, – сказала наконец миссис Форрестер.

Гости разошлись. Миссис Форрестер не остриглась, и этой темы в ее гостиной больше не касались.

Событие, имевшее столь важные последствия для литературной карьеры миссис Форрестер, тоже произошло на одном из ее вторников, уже под самый конец.

То был один из удачнейших ее вечеров. Приезжал лидер лейбористской партии, и миссис Форрестер дала ему понять (оставив себе, однако, путь для отступления), что готова связать свою судьбу с лейбористами. Если уж она решит делать политическую карьеру, выбирать нужно сейчас, не то будет поздно. Клиффорд Бойлстон привозил члена Французской академии, и хотя миссис Форрестер было известно, что по-английски он не знает ни слова, все же она с удовольствием выслушала его любезный комплимент по поводу ее стиля – одновременно и пышного и строгого. Приезжал американский посол, а также некий молодой русский князь, который сильно смахивал бы на профессионального танцора, если бы в его жилах не текла кровь Романовых. Очень милостиво держала себя некая герцогиня, которая недавно развелась со своим герцогом и вышла замуж за жокея; герцогское ее достоинство, хоть и сильно потускневшее, несомненно, придало изысканность всему сборищу. Просверкала целая плеяда литературных светил. Теперь все они уже разъехались, и в гостиной остались только Клиффорд Бойлстон, Гарри Окленд, Роза Уотерфорд, Оскар Чарлз и Симмонс. Оскар Чарлз был маленький человечек, еще молодой, но с морщинистым лицом хитрой обезьянки; для заработка он служил в каком-то правительственном учреждении, свободные же часы посвящал литературе. Он писал статейки для дешевых еженедельников и энергично презирал все на свете. Миссис Форрестер он нравился – она считала его талантливым, – но он несколько отпугивал ее своей резкостью, несмотря на то, что безмерно восхищался ее стилем (он-то, кстати сказать, и назвал ее мастером точки с запятой).

Симмонс был ее агент; на круглом его лице блестели очки с очень сильными стеклами, совершенно менявшими форму глаз, – глядя на них, вы вспоминали глаза какого-то нелепого ракообразного, которое видели в аквариуме. Он всегда бывал на вечерах миссис Форрестер отчасти потому, что преклонялся перед ее талантом, отчасти же потому, что мог завязать в ее гостиной новые деловые знакомства. Миссис Форрестер, для которой он уже давно трудился за более чем скромное вознаграждение, с радостью предоставляла ему эту возможность заработать и, рассыпаясь в благодарностях, знакомила его со всяким, у кого мог найтись литературный товар на продажу. Она даже гордилась тем, что именно в ее гостиной впервые были оценены мемуары леди Сент-Свизн, наделавшие впоследствии столько шуму и обогатившие издателей.

Итак, усевшись в кружок, центром которого была миссис Форрестер, они оживленно и, надо признать, не без ехидства, обсуждали одного за другим всех уехавших гостей. Мисс Уоррен, бледная особа, два часа простоявшая на ногах у чайного столика, молча обходила комнату, собирая пустые чашки. Она где-то кем-то служила, но всегда могла освободиться, чтобы разливать чай гостям миссис Форрестер, а по вечерам перепечатывала на машинке ее рукописи. Миссис Форрестер не платила ей за это, справедливо полагая, что бедняжка и так многим ей обязана; но она отдавала ей бесплатные билеты в кино, которые ей присылали, и нередко дарила какие-нибудь предметы одежды, когда считала, что самой ей они больше не нужны.

Миссис Форрестер говорила что-то своим низким, звучным голосом, остальные внимательно слушали. Она была в ударе, и слова, лившиеся из ее уст, можно было бы печатать без всяких поправок. Вдруг в коридоре раздался стук, словно упало что-то тяжелое, а вслед за тем громкая перебранка.

Миссис Форрестер умолкла, и благородное чело ее слегка нахмурилось.

– Пора бы им знать, что я не терплю, когда в квартире шумят. Мисс Уоррен, будьте добры, позвоните и выясните, что там творится.

Мисс Уоррен позвонила, и через минуту вошла горничная. Мисс Уоррен вполголоса заговорила с ней у двери, чтобы не перебивать миссис Форрестер. Но та с некоторым раздражением сама себя перебила.

– Что там такое. Картер? Может быть, рушится дом или это наконец разразилась революция?

– Простите, мэм, это сундук новой кухарки. Швейцар уронил его, когда вносил в квартиру, а она испугалась, ну и расстроилась.

– Какая еще новая кухарка?

– А миссис Булфинч сегодня уехала, мэм, – сказала горничная.

Миссис Форрестер с удивлением на нее поглядела.

– В первый раз слышу. Разве она предупреждала, что уходит? Как только придет мистер Форрестер, скажите ему, что мне нужно с ним поговорить.

– Слушаю, мэм.

Горничная вышла, мисс Уоррен медленно вернулась к чайному столику и машинально налила несколько чашек, хотя пить никому не хотелось.

– Какое несчастье! – воскликнула мисс Уотерфорд.

– Вы должны ее вернуть, – сказал Клиффорд Бойлстон. – Ведь эта женщина – чистое сокровище, она готовит замечательно, и притом все лучше и лучше.

Но тут опять вошла горничная и подала хозяйке письмо на никелированном подносыке.

– Что это? – спросила миссис Форрестер.

– Мистер Форрестер, мэм, велел, чтобы, когда вы его спросите, передать вам это письмо.

– А где же мистер Форрестер?

– Мистер Форрестер уехал, мэм, – отвечала горничная, словно удивленная этим вопросом.

– Уехал? Хорошо. Можете идти.

Горничная вышла, а миссис Форрестер, всем своим большим лицом выражая недоумение, вскрыла письмо. Роза Уотерфорд рассказывала мне потом, что первой ее мыслью было: наверно, Альберт, убоявшись гнева своей супруги, вызванного уходом миссис Булфинч, решил утопиться в Темзе. Миссис Форрестер прочла письмо, и на лице ее изобразился ужас.

– Это чудовищно! – вскричала она. – Чудовищно!

– Что случилось, миссис Форрестер?

Миссис Форрестер несколько раз топнула ногой по ковру, как застоявшаяся норовистая лошадь, и, скрестив на груди руки жестом, не поддающимся описанию (но знакомым всякому, кто видел рыночную торговку, изготовившуюся кого-то облаять), обратила взор на своих встревоженных и заинтригованных друзей.

– Альберт сбежал с кухаркой.

Все дружно ахнули. А потом случилось нечто страшное. Мисс Уоррен, стоящая у чайного столика, вдруг поперхнулась. Мисс Уоррен, которая никогда не открывала рта и с которой никто не разговаривал, мисс Уоррен, которую они не узнали бы на улице, хотя видели ее каждую неделю в течение трех лет, мисс Уоррен вдруг разразилась безудержным смехом. Все как один оглянулись и растерянно воззрились на нее. Так, должно быть, изумился Валаам, когда заговорила его ослица. Мисс Уоррен хохотала все громче. Это было жуткое зрелище, точно нарушился извечный закон природы, и впечатление производило такое же, как если бы столы и стулья, внезапно сорвавшись с места, пустились выплясывать какой-то причудливый танец. Мисс Уоррен старалась сдержаться, но чем больше она старалась, тем безжалостнее сотрясал ее смех, и наконец она схватила платок и, засунув его в рот, выбежала из комнаты. Дверь захлопнулась.

– Истерика, – сказал Клиффорд Бойлстон.

– Разумеется, истерика, – сказал Гарри Окленд.

Но миссис Форрестер не сказала ничего.

Письмо, выпавшее из ее рук, лежало на полу. Симмонс поднял его и подал ей. Она отмахнулась.

– Прочтите, – сказала она. – Прочтите вслух.

Мистер Симмонс сдвинул очки на лоб, поднес письмо близко к глазам и прочел следующее:

«Моя дорогая!

Миссис Булфинч нуждается в перемене обстановки и решила от нас уехать, а так как мне не хочется оставаться без нее, я тоже уезжаю. С меня довольно, я по горло сыт литературой и искусством.

Миссис Булфинч не настаивает на законном браке, но, если ты со мной разведешься, она согласна выйти за меня замуж. Надеюсь, что новая кухарка сумеет тебе угодить. У нее отличные рекомендации. На всякий случай сообщаю, что мы с миссис Булфинч живем по адресу: Кеннингтон-роуд, 411, ЮВ.»

Альберт

Никто не прервал молчания. Мистер Симмонс стряхнул очки обратно на переносицу. Как ни привыкли они все при любых обстоятельствах находить тему для разговора, сейчас нужные слова просто не шли на язык. К такой женщине, как миссис Форрестер, не сунешься с утешениями, и к тому же каждый боялся какой-нибудь банальной фразой навлечь на себя насмешки остальных. Наконец Клиффорд Бойлстон решился.

– Просто не знаешь, что и сказать, – заметил он.

Опять наступило молчание, а потом заговорила Роза Уотерфорд.

– Какая эта миссис Булфинч с виду? – спросила она.

– Откуда мне знать? – с досадой отвечала миссис Форрестер. – Я никогда на нее не смотрела. Прислугу всегда нанимал Альберт. Ко мне Булфинч заходила только на минутку, чтобы я могла проверить общее впечатление.

– А разве вы не видели ее каждое утро, когда отдавали распоряжения по хозяйству?

– Все распоряжения отдавал Альберт. Он сам на этом настоял, чтобы я могла без помех отдаваться своей работе. В нашей жизни всюду поспеть невозможно.

– И завтраки по субботам тоже заказывал Альберт? – спросил Клиффорд Бойлстон.

– Конечно. Это входило в его компетенцию.

Клиффорд Бойлстон чуть вздернул брови. Дурак, как он не догадался, что замечательные завтраки миссис Форрестер – это работа Альберта! И, несомненно, заботами Альберта превосходное шашли всегда бывало остужено как раз в меру – чтобы приятно холодило язык, не теряя при этом своего букета.

– Он знал толк в еде и в винах, этого у него не отнимешь.

– Я вам всегда говорила, что у него есть достоинства, – сказала миссис Форрестер, словно он в чем-то упрекал ее. – Вы все над ним смеялись. Вы не верили, когда я говорила, что он мне помогает жить.

Ответа не последовало, и снова наступило молчание – тяжелое и зловещее. Вдруг мистер Симмонс бросил бомбу.

– Вы должны вернуть его.

От удивления миссис Форрестер, наверно, попятилась бы, если б не стояла, прислонившись спиной к камину.

– Что вы говорите! – вскричала она. – Я, пока жива, больше его не увижу. Простить его? Ни за что. Пусть хоть на коленях меня умоляет.

– Я не говорил, чтобы вы его простили. Я сказал – верните его.

Но миссис Форрестер не обратила внимания на эту неуместную поправку.

– Я все для него делала. Ну скажите, чем бы он был без меня? Я дала ему положение, о каком он не мог и мечтать.

Негодование миссис Форрестер было великолепно, однако на мистера Симмонса оно, как видно, не произвело впечатления.

– А на что вы теперь будете жить?

Миссис Форрестер метнула на него взгляд, в котором никто не усмотрел бы дружелюбия.

– Бог меня не оставит, – отвечала она ледяным тоном.

– Сомневаюсь, – возразил он.

Миссис Форрестер пожала плечами. На лице ее изобразилось возмущение. Но мистер Симмонс уселся поудобнее на своем жестком стуле и закурил.

– Вы знаете, что никто не восхищается вами больше моего, – сказал он.

– Больше, чем я, – поправил его Клиффорд Бойлстон.

– Ну, и чем вы, – согласился мистер Симмонс. – Мы все считаем, что из живых писателей ни один с вами не сравнится. И стихи и проза у вас первый сорт. А что до стиля – всем известно, какой у вас стиль.

– Возвышенный, как у сэра Томаса Брауна, и прозрачный, как у кардинала Ньюмена, – сказал Клиффорд Бойлстон. – Хлесткий, как у Джона Драйдена, и точный, как у Джонатана Свифта.

Только по улыбке, на мгновение тронувшей уголки трагически сжатых губ миссис Форрестер, можно было понять, что она его слышала.

– И юмор у вас есть.

– Кто, кроме вас, – вскричала мисс Уотерфорд, – может вложить в точку с запятой столько остроумия, наблюдательности и сатирической силы!

– Но при всем том спроса на вас нет, – невозмутимо продолжал мистер Симмонс. – Я двадцать лет предлагаю ваш товар и прямо скажу – на таких комиссионных не разживешься. Просто хочется иногда продвинуть хорошую книгу. Я всегда в вас верил и все надеялся, что рано или поздно публика на вас клюнет. Но если вы воображаете, что на такие писания, как ваши, можно прожить, так, уверяю вас, вы ошибаетесь.

– Я опоздала родиться, – сказала миссис Форрестер. – Мне нужно было жить в восемнадцатом веке, когда богатый покровитель давал сто гиней в награду за посвящение.

– Как вы полагаете, торговать коринкой доходное дело?

– О нет, – отвечала миссис Форрестер с легким вздохом. – Альберт говорил, что его годовой доход составляет примерно тысячу двести фунтов.

– Он, как видно, умеет делать дела. Но из такого дохода он едва ли сможет назначить вам особо щедрое содержание. Верьте моему слову, у вас есть только один выход – вернуть его.

– Лучше я буду жить в мансарде. Неужели вы думаете, что я стерплю оскорбление, которое он нанес мне? Вы что же, хотите, чтобы я отбивала его у собственной кухарки? Не забывайте, для такой женщины, как я, главное не комфорт, а достоинство.

– А я как раз к этому и веду, – сухо произнес мистер Симмонс.

Он окинул взглядом присутствующих, и в эту минуту его странные, скошенные глаза больше, чем когда-либо, напоминали глаза рака.

– Я прекрасно знаю, – продолжал он, – что в литературном мире вы занимаете почетное, можно сказать, исключительное положение. Вы – единственная в своем роде. Вы никогда не продавали своего таланта за презренный металл, высоко держите знамя чистого искусства. Вы хотите попасть в парламент. Сам я не бог весть какого мнения о политической деятельности, но признаю, что реклама это хорошая, и, если вас изберут, мы, вероятно, могли бы устроить вам лекционное турне по Америке. У вас есть идеалы, и вас, несомненно, уважают даже те, кто отроду не читал ваших книг. Но одного вы в вашем положении не можете себе позволить, а именно стать посмешищем.

Миссис Форрестер заметно вздрогнула.

– Как я должна вас понять?

– Про миссис Булфинч я ничего не знаю, очень может быть, что она вполне порядочная

женщина, но факт остается фактом: жена человека, сбежавшего с кухаркой, вызывает смех. Другое дело танцовщица или титулованная леди, – это, возможно, вам и не повредило бы, но кухарка вас доконает. Через неделю весь Лондон будет над вами потешаться, а для писателя и для политического деятеля это – верная смерть. Нет, вы должны заставить своего мужа вернуться, и притом как можно скорее, черт побери!

Лицо миссис Форрестер вспыхнуло от гнева, но ответила она не сразу. В ушах у нее внезапно зазвучал безобразный, необъяснимый смех мисс Уоррен.

– Мы все тут ваши друзья, на нашу скромность можете положиться.

Миссис Форрестер взглянула на своих друзей, и ей показалось, что в глазах Розы Уотерфорд уже мелькают злорадные искорки. Сморщенная рожица Оскара Чарлза кривилась в усмешке. Миссис Форрестер пожалела, что сгоряча посвятила их в свою тайну. Но мистер Симмонс хорошо знал литературный мир. Он спокойно оглядел всю компанию.

– Ведь вы глава и средоточие этого кружка. Ваш муж сбежал не только от вас, но и от них. Для них это тоже не весело. Альберт Форрестер всех вас оставил в дураках.

– Всех, – подтвердил Клиффорд Бойлстон. – Все мы одинаково влипли. Он прав, миссис Форрестер. Филателиста нужно вернуть.

– Et tu, Brute.¹

Мистер Симмонс не понимал по-латыни, а если бы и понимал, едва ли восклицание миссис Форрестер смутило бы его. Он откашлялся.

– Я считаю так: пусть миссис Форрестер завтра побывает у него, благо адрес он оставил, и попросит его пересмотреть свое решение. Не знаю, что женщинам полагается говорить в таких случаях, но у миссис Форрестер есть и воображение и такт, уж она найдет, что сказать. Если мистер Форрестер будет ставить условия, пусть принимает их. Нужно идти на все.

– Если вы хорошо разыграете свои карты, вполне возможно, что вы завтра же привезете его с собой, – сказала Роза Уотерфорд беспечным тоном.

– Ну как, миссис Форрестер, согласны?

Отвернувшись от них, она минуты две, не меньше, глядела в пустой камин. Потом выпрямилась во весь рост и отвечала:

– Не ради себя, ради моего искусства. Я не допущу, чтобы кощунственный смех толпы запятнал все, в чем я вижу истину, красоту и добро.

– Правильно, – сказал мистер Симмонс, вставая с места. – Я завтра забегу к вам по дороге домой и надеюсь, что к тому времени вы с мистером Форрестером уже будете ворковать здесь, как пара голубков.

Он откланялся, и остальные, страшась оказаться наедине с миссис Форрестер и ее чувствами, последовали его примеру.

На следующий день, часов около пяти, миссис Форрестер, очень представительная в черных шелках и бархатном токе, выплыла из своей квартиры и направилась к Мраморной Арке, чтобы доехать оттуда автобусом до вокзала Виктории. Мистер Симмонс объяснил ей по телефону, как добраться до Кеннингтон-роуд быстро и без больших затрат. На Далилу она была не похожа, да и не чувствовала себя ею. У вокзала Виктории она села в трамвай, который идет через Воксхоллский мост. За Темзой начинался район Лондона, более шумный, грязный и тесный, нежели те, к которым она привыкла, но, занятая своими мыслями, она даже не заметила этой перемены. По счастью, оказалось, что трамвай идет по самой Кеннингтон-роуд, и она попросила кондуктора остановить вагон за несколько домов от того, который был ей нужен. Когда трамвай, гремя, умчался дальше, а она осталась одна на оживленной улице, ее охватило странное чувство одиночества, как путника из восточной сказки, которого джинн принес в незнакомый город. Она шла медленно, глядя по сторонам, и, несмотря на борьбу, которую вели в ее объемистой груди негодование и робость, невольно думала о том, что перед нею – материал для прелестного очерка. Низкие домики хранили что-то от ушедшего века, когда здесь была еще почти деревня, и миссис Альберт Форрестер

¹ И ты, Брут (лат.).

отметила про себя, что нужно будет выяснить, какие литературные события и лица связаны с Кеннингтон-роуд.

Дом № 411 стоял в ряду других, таких же обшарпанных домов, немного отступя от мостовой; перед ним была узкая полоска чахлой травы, мощеная дорожка вела к деревянному крыльцу, давно не крашенному. Крыльцо это да еще жидкий плющ, которым был увит фасад дома, придавали ему фальшиво деревенский вид, – это было странно и даже неприятно здесь, среди шума и грохота уличного движения. Было в этом доме что-то двусмысленное, наводившее на мысль, что здесь обитают женщины, чья жизнь, прожитая в грехе, незаслуженно увенчалась наградой.

Дверь отворила худенькая девочка лет пятнадцати, длинноногая и растрепанная.

– Вы не скажете, здесь живет миссис Булфинч?

– Не в тот звонок позвонили. Это наверху. – Девочка указала на лестницу и пронзительно крикнула: – Миссис Булфинч, к вам пришли! Миссис Булфинч!

Миссис Форрестер стала подниматься по грязной лестнице, покрытой рваной дорожкой. Она шла медленно, чтобы не запыхаться. На втором этаже кто-то отворил дверь, и она узнала свою кухарку.

– Добрый вечер, Булфинч, – с достоинством произнесла миссис Форрестер. – Мне нужно повидать вашего хозяина.

Миссис Булфинч помедлила долю секунды, потом распахнула дверь настежь.

– Входите, мэм. – Она оглянулась через плечо. – Альберт, это миссис Форрестер к тебе.

Миссис Форрестер быстро шагнула мимо нее. У огня в сильно потертом кожаном кресле сидел Альберт в домашних туфлях и без пиджака. Он читал вечернюю газету и курил сигару. При виде миссис Форрестер он встал. Миссис Булфинч вернулась в комнату следом за гостьей и затворила дверь.

– Как поживаешь, дорогая? – бодро сказал Альберт. – Надеюсь, ты в добром здоровье?

– Ты бы надел пиджак, Альберт, – сказала миссис Булфинч. – А то миссис Форрестер бог знает что о тебе подумает.

Она сняла пиджак с гвоздя и подала ему, а потом уверенной рукою женщины, для которой мужская одежда не таит секретов, обдернула на нем жилет, чтобы не наезжал на воротничок.

– Я получила твое письмо, Альберт, – сказала миссис Форрестер.

– Я так и думал, ведь иначе ты не знала бы моего адреса.

– Присаживайтесь, мэм, – сказала миссис Булфинч и, ловко смахнув пыль с одного из шести одинаковых стульев, обитых вишневым плюшем, выдвинула его вперед.

С легким поклоном миссис Форрестер села.

– Я бы хотела поговорить с тобой наедине, Альберт.

Глаза его лукаво блеснули.

– Все, что ты можешь сказать, касается миссис Булфинч в той же мере, как и меня, поэтому лучше, я думаю, разговаривать при ней.

– Как хочешь.

Миссис Булфинч пододвинула себе стул и села. До сих пор миссис Форрестер видела ее только в ситцевом платье и большом фартуке. Сейчас на ней была белая шелковая блузка с мережкой, черная юбка и лакированные туфли на высоких каблуках и с серебряными пряжками. Это была женщина лет сорока пяти, рыжеватая, румяная, не то чтобы красивая, но цветущая и приятной наружности. Она напомнила миссис Форрестер пышнотелую служанку с жизнерадостной картины какого-то старого голландского мастера.

– Ну-с, дорогая, так что же ты хотела мне сказать? – спросил Альберт.

Миссис Форрестер подарила его одной из своих самых приветливых улыбок. Ее большие черные глаза глядели снисходительно и благодушно.

– Ты, конечно, понимаешь, Альберт, как все это глупо. Мне кажется, ты не в своем уме.

– Вот как, дорогая? Это интересно.

– Я не сержусь на тебя, мне просто смешно, но всякая шутка хороша до известного

предела. А сейчас мы с тобою поедem домой.

– Разве я не ясно выразился в своем письме?

– Совершенно ясно. Я ни о чем тебя не спрашиваю и не собираюсь ни в чем упрекать. Будем считать это недоразумением и на том покончим.

– Ничто не заставит меня вернуться к тебе, моя дорогая, – сказал Альберт, впрочем вполне дружелюбно.

– Ты шутишь?

– Нисколько.

– Ты любишь эту женщину?

Миссис Форрестер все еще улыбалась приветливой, немного деревянной улыбкой. Она твердо решила относиться ко всему происходящему легко. Наделенная тонким чувством пропорций, она, конечно, понимала комизм этой сцены.

Альберт взглянул на миссис Булфинч, и по его морщинистому лицу тоже поползла улыбка.

– Мы хорошо спелись, верно, старушка?

– Неплохо, – сказала миссис Булфинч.

Миссис Форрестер подняла брови; ни разу за всю их супружескую жизнь муж не назвал ее «старушкой», да она и не одобрила бы этого.

– Если Булфинч хоть сколько-нибудь уважает тебя, она должна понимать, что это невозможно. После той жизни, которую ты вел, того общества, в котором ты вращался, едва ли она может надеяться, что ты будешь счастлив с нею в каких-то меблированных комнатах.

– Это не меблированные комнаты, мэм, – сказала миссис Булфинч. – Вся мебель моя собственная. Я оставляю за собой эту квартиру, даже когда нахожусь в услужении, чтоб было куда вернуться. Такой уж у меня характер самостоятельный, всегда любила иметь свой угол.

– И очень уютный угол, – сказал Альберт.

Миссис Форрестер огляделась. На плите, установленной в камине, шумел чайник, на каминной полке стояли черные мраморные часы между двух черных мраморных подсвечников. Большой стол, накрытый красной скатертью, комод, швейная машина. На стенах – фотографии и картинки из воскресных приложений. За красной плюшевой портьерой была вторая дверь, и миссис Форрестер, посвятившая немало свободных часов занятиям архитектурой, поняла, что, принимая во внимание размеры дома, за этой дверью может находиться только одно: единственная в квартире спальня. Таким образом, в характере отношений, связывающих миссис Булфинч и Альберта, можно было не сомневаться.

– Разве ты не был счастлив со мною, Альберт? – спросила миссис Форрестер уже менее легким тоном.

– Дорогая моя, мы были женаты тридцать пять лет. Это долгий срок. Слишком долгий. Ты по-своему неплохая женщина. Но мне ты не подходишь. Ты живешь литературой и искусством, а я нет.

– Я всегда старалась вовлекать тебя в круг моих интересов. Всегда заботилась о том, чтобы, несмотря на мои успехи, ты не оставался в тени. Ты не можешь утверждать, что я тобой пренебрегала.

– Ты замечательная писательница, я этого не отрицаю, но скажу откровенно – мне твои книги не нравятся.

– Извини меня, но это только свидетельствует о недостатке вкуса. Все лучшие критики признают силу и обаяние моего таланта.

– И друзья твои мне не нравятся. Позволь открыть тебе один секрет. На твоих вечерах меня иногда так и подмывало раздеться – посмотреть, что из этого выйдет.

– Ничего особенного не вышло бы, – сказала миссис Форрестер, слегка нахмурившись. – Я бы послала за доктором, вот и все.

– И фигура у тебя для этого не подходящая, Альберт, – сказала миссис Булфинч.

Миссис Форрестер помнила намек Симмонса, чтобы она, если нужно будет, не стеснялась пустить в ход свои женские чары, лишь бы вернуть провинившегося супруга под

семейный кров; но она понятия не имела, как это делается. Вероятно, подумалось ей, это было бы легче, будь она в вечернем туалете.

– Но, Альберт, ведь я тридцать пять лет была тебе верна, ни разу даже не взглянула на другого мужчину. Я к тебе привыкла. Не знаю, как я буду без тебя.

– Я все меню оставила новой кухарке, мэм, – сказала миссис Булфинч. – Вы только говорите ей, сколько гостей будет к завтраку, она все сделает, как надо. Готовит она отлично, а уж на пирожное – так у нее особенно легкая рука.

У миссис Форрестер стала ускользать почва из-под ног. После замечания миссис Булфинч, подсказанного, несомненно, самыми добрыми намерениями, трудно было вести разговор в таком плане, чтобы высокие чувства не казались фальшивыми.

– Боюсь, дорогая, что ты попусту тратишь время, – сказал Альберт. – Решение мое бесповоротно. Я уже не молод, мне требуется забота. Тебя я, разумеется, по мере сил обеспечу. Коринна советует мне удалиться от дел.

– Кто такая Коринна? – спросила миссис Форрестер в крайнем изумлении.

– Это я, – сказала миссис Булфинч. – У меня мать была наполовину француженка.

– Этим многое объясняется, – заметила миссис Форрестер, поджав губы: при всем своем восхищении литературой наших соседей, она знала, что нравственность их оставляет желать лучшего.

– Я ему говорю, что довольно, мол, ему работать, пора и отдохнуть. У меня есть домик в Клектоне. Местность там здоровая, у самого моря, воздух замечательный. Мы там отлично проживем. Там не скучно – то на пляж сходишь, то на пристань. И люди хорошие. Никто тебя не трогает, если сам никого не трогаешь.

– Я сегодня говорил со своими компаньонами, они согласны выкупить мою долю. Кое-что я на этом потеряю. После всех формальностей у меня останется девятьсот фунтов годовых. Нас трое, значит, на каждого придется по триста фунтов в год.

– Разве я могу на это прожить? – вскричала миссис Форрестер. – Я должна думать о своем положении.

– Ты мастерски владеешь пером, дорогая.

Миссис Форрестер раздраженно повела плечами.

– Ты прекрасно знаешь, что мои книги не приносят мне ничего, кроме славы. Издатели всегда говорят, что печатают их в убыток, но все же печатают, потому что это повышает их престиж.

И тут-то миссис Булфинч осенила мысль, имевшая столь грандиозные последствия.

– А почему бы вам не написать детективный роман, такой, чтобы дух захватывало?

– Чего? – воскликнула миссис Форрестер, впервые в жизни забыв о грамматике.

– А это не плохая идея, – сказал Альберт. – Совсем не плохая.

– Критики разорвут меня в клочки.

– Не думаю. Дай только снобам возможность спуститься с небес на землю, не уронив своего достоинства, и они из благодарности не знаю что сделают.

– «Благодарю, Бернардо, за услугу», – задумчиво проговорила миссис Форрестер.

– Дорогая моя, критики будут в восторге. А так как книга твоя будет написана великолепным языком, то они не побоятся назвать ее шедевром.

– Но это чистейший абсурд. Такие вещи чужды моему таланту. Я все равно не сумею угодить широким массам.

– Почему? Широкие массы любят читать хорошие книжки, но они не любят скучать. Имя твое знают все, но читать тебя не читают, потому что это скучно. Дело в том, дорогая, что ты невыносимо скучна.

– Не понимаю, как ты можешь это говорить, Альберт, – возразила миссис Форрестер, ничуть не обидевшись (экватор тоже, вероятно, не обиделся бы, если бы его назвали холодным). – Все признают, что у меня восхитительное чувство юмора и что никто не может добиться такого комического эффекта с помощью точки с запятой.

– Если ты сумеешь дать широким массам захватывающий роман и в то же время

внушить им, что они пополняют свое образование, ты станешь богатой женщиной.

– Я в жизни не читала детективных романов, – сказала миссис Форрестер. – Я слышала про какого-то мистера Барнса из Нью-Йорка, он, говорят, написал книгу под названием «Тайна кэба». Но я ее не читала.

– Тут, конечно, требуется особое умение, – сказала миссис Булфинч. – Главное – не забывать, что про любовь писать не нужно, в детективном романе это ни к чему, там нужно, чтоб было убийство, сыщики и чтобы до последней страницы нельзя было угадать, кто преступник.

– Но нельзя и водить читателей за нос, – добавил Альберт. – Меня всегда злит, когда подозрение падает на секретаря или на герцогиню, а потом оказывается, что убил младший лакей, который за все время только и сделал, что доложил: «Коляска подана». Запутывая читателя как можно больше, но не заставляй его чувствовать себя дураком.

– Обожаю детективные романы, – сказала миссис Булфинч. – Как прочтешь, что на полу в библиотеке лежит знатная леди в вечернем платье, вся в бриллиантах, и в сердце у нее воткнут кинжал, – просто вся дрожишь от радости.

– Кому что, – сказал Альберт. – Я, например, больше люблю, когда в Хайд-парке находят труп почтенного адвоката с бакенбардами, золотой цепочкой от часов и добрым выражением лица.

– И с перерезанным горлом? – живо спросила миссис Булфинч.

– Нет, убитого ножом в спину. Есть особая прелесть в том, чтобы убитый был пожилой джентльмен с безупречной репутацией. Всякому приятно думать, что за самой казалось бы почтенной внешностью скрывается что-то загадочное.

– Я тебя понимаю, Альберт, – сказала миссис Булфинч. – Ему была вверена роковая тайна.

– Мы можем дать тебе кучу полезных советов, дорогая, – сказал Альберт, ласково улыбаясь миссис Форрестер. – Я прочел сотни детективных романов.

– Ты?!

– С этого и началась наша дружба с Коринной. Я их прочитывал, а потом передавал ей.

– Сколько раз я, бывало, услышу, как он выключает свет, а на улице уже утро, всегда улыбнусь про себя и подумаю: ну вот, дочитал наконец, теперь можно ему и соснуть.

Миссис Форрестер встала и расправила плечи.

– Теперь я вижу, какая пропасть нас разделяет, – сказала она чуть дрогнувшим контральто. – Тридцать лет тебя окружало все, что есть лучшего в английской литературе, а ты сотнями читал детективные романы.

– Да, не одну сотню прочел, – подтвердил Альберт с довольной улыбкой.

– Я пришла сюда, готовая на любые разумные уступки, лишь бы ты вернулся домой, но теперь я этого больше не хочу. Ты доказал, что у нас нет и не было ничего общего. Мы живем на разных планетах.

– Хорошо, дорогая. Я подчиняюсь твоему решению. А о детективном романе ты подумай.

– «Теперь я в путь пускаюсь, в далекий Иннисфри», – прошептала миссис Форрестер.

– Я провожу вас до парадного, – сказала миссис Булфинч. – Там дорожка рваная, недолго и споткнуться.

С большим достоинством, однако же внимательно глядя под ноги, миссис Форрестер спустилась по лестнице и, когда миссис Булфинч, отперев дверь, предложила ей позвать такси, покачала головой.

– Я поеду трамваем.

– А насчет мистера Форрестера не беспокойтесь, мэм, – дружелюбно сказала миссис Булфинч, – я о нем буду хорошо заботиться. Я вон за мистером Булфинчем три года ходила, когда он в последний раз захворал, не хуже сиделки. А мистер Форрестер, он для своих лет вон какой крепкий и бодрый. Ну и занятие у него, конечно, будет. Хуже нет, когда мужчине нечем заняться. Он будет собирать марки.

Миссис Форрестер вздрогнула от неожиданности. Но тут показался трамвай, и она, как свойственно женщинам (даже великим), с риском для жизни бросилась на середину улицы и отчаянно замахала рукой. Трамвай остановился, она села. Она не могла представить себе, что скажет мистеру Симмонсу. Ведь он ждет ее. И Клиффорд Бойлстон, наверно, явился. Все они явились, и ей придется сказать им, что она потерпела позорное фиаско. В эту минуту кучка ее преданных почитателей не вызывала у нее особенно теплых чувств. Сообразив, что уже поздно, она подняла глаза на пассажира напротив, чтобы убедиться, прилично ли будет спросить у него, который час, – и вздрогнула: перед ней сидел пожилой человек самой почтенной наружности, с бакенбардами, с добрым выражением лица и с золотой цепочкой. Тот самый, который, как сказал Альберт, был найден убитым в Хайд-парке, и он, конечно же, адвокат. Совпадение было поразительное, – в самом деле, точно перст судьбы поманил ее. На нем был цилиндр, черная визитка и серые брюки в полоску, он был крепкого сложения, немного располневший, а рядом с ним стоял небольшой чемоданчик. Когда они миновали Воксхоллский мост, он попросил кондуктора остановить вагон, и она видела, как он свернул в узкий мрачный переулок. Зачем? Если бы знать! Она так ушла в свои мысли, что, доехав до вокзала Виктории, не сдвинулась с места, пока кондуктор не напомнил ей довольно бесцеремонно, что надо выходить. Детективные рассказы писал Эдгар Аллан По. Она села в автобус и ехала, по-прежнему погруженная в задумчивость, но у первых ворот Хайд-парка вдруг решила, что пойдет дальше пешком. Она больше не могла сидеть на месте. Войдя в парк, она медленно пошла по дорожке, глядя перед собой взглядом, одновременно пристальным и рассеянным. Да, Эдгар Аллан По; этого никто не станет отрицать. В конце концов, ведь именно он изобрел этот жанр, а всем известно, какое влияние он имел на парнасцев. Или на символистов? Впрочем, это неважно. Бодлер и прочие. У статуи Ахиллеса миссис Форрестер остановилась и с минуту глядела на нее, подняв брови.

Наконец она добралась до своей квартиры и, отворив дверь, увидела в передней несколько шляп. Все явились! Она вошла в гостиную.

– Наконец-то! – вскричала Роза Уотерфорд.

Миссис Форрестер энергично пожала протянувшиеся к ней руки. Да, все здесь – мистер Симмонс, Клиффорд Бойлстон, и Гарри Окленд, и Оскар Чарлз.

– Бедные вы мои, вам не дали чаю? – воскликнула она непринужденно и весело. – Я понятия не имею, который час, но я, наверно, ужасно запоздала.

– Ну что? – спросили все.

– Дорогие мои, я должна вам сообщить поразительную новость. На меня снизошло вдохновение. Зачем отдавать все козыри противнику?

– О чем вы?..

Она сделала паузу, чтобы эффект получился сильнее, а потом выпалила без всяких предисловий:

– Я буду писать детективный роман.

Они смотрели на нее, раскрыв рот. Она подняла руку в знак того, чтобы ее не прерывали, но никто и не собирался ее прерывать.

– Я подниму детективный роман до уровня высокого искусства. Эта идея явилась у меня внезапно в Хайд-парке. История с убийством, а разгадку я дам на самой последней странице. Я напишу ее безукоризненным языком, но поскольку мне уже приходило в голову, что я, пожалуй, исчерпала ресурсы точки с запятой, теперь я начну обыгрывать двоеточие. Никто еще не исследовал его потенциальных возможностей. Юмор и тайна – вот к чему я стремлюсь. Называться книга будет «Статуя Ахиллеса».

– Какое заглавие! – воскликнул мистер Симмонс, первым приходя в себя. – Да мне только этого заглавия и вашего имени хватит для договора с журналами.

– А что же Альберт? – спросил Клиффорд Бойлстон.

– Альберт? – отозвалась миссис Форрестер. – Альберт?

Она посмотрела на Клиффорда Бойлстона так, словно не могла взять в толк, о чем он говорит. Потом негромко вскрикнула, будто вдруг что-то вспомнив.

– Альберт! Я же знала, что у меня было какое-то дело. Но когда я шла через Хайд-парк, меня осенила эта мысль и все остальное вылетело из головы. Какой я вам, наверно, кажусь душой!

– Так вы не видели Альберта?

– Боже мой, я о нем и думать забыла. – Она беспечно рассмеялась. – Пусть остается со своей кухаркой. Теперь мне не до Альберта. Альберт – это из эпохи точки с запятой. Я буду писать детективный роман.

– Дорогая моя, вы просто изумительны, – сказал Гарри Окленд.